

INSPIRIA

ПЕТЕР
ХАНДКЕ

БОРОВКА
ФРУКТОВ



INSPIRIA

Loft. Нобелевская премия: коллекция

Петер Хандке

Воровка фруктов

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Хандке П.

Воровка фруктов / П. Хандке — «Эксмо», 2017 — (Loft.
Нобелевская премия: коллекция)

ISBN 978-5-04-164320-1

«Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела». Именно это стало для героя знаком того, что пора отправляться в путь на поиски. Он ищет женщину, которую зовет воровкой фруктов. Следом за ней он, а значит, и мы, отправляемся в Вексен. На поезде промчав сквозь Париж, вдоль рек и равнин, по обочинам дорог, встречая случайных и неслучайных людей, познавая новое, мы открываем главного героя с разных сторон. Хандке умеет превратить любое обыденное действие – слово, мысль, наблюдение – в поистине грандиозный эпос. «Воровка фруктов» – очередной неповторимый шедевр его созерцательного гения. Автор был удостоен Нобелевской премии, а его книги – по праву считаются современной классикой.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-04-164320-1

© Хандке П., 2017

© Эксмо, 2017

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	46
-----------------------------------	----

Петер Хандке

Воровка фруктов

Peter Handke

DIE OBSTDIEBIN ODER EINFACHE FAHRT INS LANDESINNERE

Copyright © Suhrkamp Verlag Berlin 2017

All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin

© Коренева М., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

ПРОСТАЯ ПОЕЗДКА В ГЛУБЬ СТРАНЫ:

Вокзал Сен-Лазар – Два клошара на железнодорожной станции в Пикардии – Китайские туристы на прогулочном кораблике – Колокольня Курдиманша – Фазан среди деревьев в речной долине – Кошка в дебрях ущелья – Парочка в «Café de l'Univers» – Молчаливые паломники – Учительница деревенской школы – Хозяин гостиницы – Вексенское плато – Почтальонша – Краинный художник – Футбольный матч – Барачный рабочий поселок – Торжественная речь

Никогда еще никто не видел яркого лета в таком многообразии цвета.

Вольфрам фон Эшенбах, «Виллегальм»

И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Матф. 5:41

*Никто у дороги не дал огня,
А на свидании света.*

Фриц Швиглер фон Бреех

Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела. Во всяком случае, со мной именно так и случается с незапамятных времен. И теперь я уже знаю, что такие дни, отмеченные первым и часто единственным ежегодным укусом пчелы, совпадают, как правило, с началом цветения клевера, среди которого, у самой земли, копошатся еле приметные пчелы.

Был солнечный, но не жаркий, во всяком случае пока еще стояло утро, и это тоже повторялось неизменно, день начала августа, с ровной синевой неба, поднимающейся выше и выше. Ни единого облака, а если вдруг одно и появится – тут же растворяется. – Дул легкий окрыляющий ветер, с запада, как часто бывает летом, со стороны Атлантики, так рисовало воображение, чтобы залететь сюда, в Ничейную бухту. На траве ни росинки, все сухо. – И сегодня, как уже целую неделю во время ранних утренних прогулок по саду, голые ступни не чувствуют даже намек на влагу, а между пальцами тем более ничего не чувствуется.

Говорят, что пчелы, в отличие от ос, жала, теряют свое жало и умирают от собственного укуса. За прошедшие годы, когда меня кусала пчела – почти всегда в голую ногу, – я не раз

наблюдал такое, по крайней мере, видел словно вырванный с мясом из пчелы крошечный и вместе с тем сокрушительный трезубый гарпун, на котором пучилось что-то дрябло-студенистое, нутряное, и был свидетелем, как прямо на глазах скукоживается, дрожит, трясется это существо с цепенеющими крыльями.

Но тогда, в тот самый знаменательный день укуса, в который история о воровке фруктов обрела очертания, пчела, ужалившая меня, босоногого, не погибла от этого. И хотя на сей раз речь шла о совершенной крохе, шерстистом плюшевом комочке с классической пчелиной раскраской в полоску, она, ужалив, осталась при своем жале и после произведенной атаки, беспримерной по своей неожиданности и силе, лихо умчалась с жужжаньем прочь как ни в чем не бывало, и более того – с такой энергией, словно осуществленная операция прибавила ей сил.

Я же был вполне доволен укусом, и не только из-за выжившей пчелы. – Имелись и другие причины. Считалось, что пчелиные укусы, опять-таки в отличие от укусов ос или шершней, якобы полезны для здоровья, при ревматизме, нарушенном кровообращении и прочих хворях, и такой укус, мнил я, отдаваясь очередной фантазии, оживит мне хотя бы на некоторое время пальцы на ногах, которые год от года вследствие затрудненного кровотока все больше теряли чувствительность и даже совсем онемели; под действием сходной игры воображения или фантазии я, независимо от того, где я находился, в саду ли Ничейной бухты или на уступчатых склонах приусадебного участка в далекой Пикардии, частенько принимался рвать голыми руками крапиву, выдергивая охапки из суглинистой почвы тут и рыхлой, известковой почвы там.

Была и еще одна причина, по которой пчелиный укус пришелся мне как нельзя кстати. Я воспринял его как знак. Хороший или дурной? Ни хороший, ни дурной или недобрый, просто как знак. Укус подал мне знак, что пора двигаться. Пора тронуться в путь. Оторваться от сада и привычных окрестностей. Снимайся с места. Пробил час отправляться в поход.

Мог ли я обойтись без такого рода знаков? В тот день, тогда – нет, и пусть все это было лишь игрой воображения или летним сном наяву.

Я подобрал в доме и в саду, наведя некоторый порядок и оставив кое-что нетронутым, на своих местах, выгладил две-три старые, особо дорогие мне рубашки, не успевшие высохнуть на траве, сложил вещи в дорогу, сунул связку ключей от деревенского дома, гораздо более увесистую, чем ключи от моего здешнего, пригородного дома. И как уже не раз случалось перед отъездом, – у меня порвался шнурок, когда я завязывал высокие ботинки, и я все никак не мог найти двух подходящих носков, и перебрал десятка три подробных карт, среди которых так и не обнаруживалась та единственная, нужная мне, вот только сегодня, в отличие от предыдущих разов, у меня порвалось сразу два шнурка (на завязывание которых я потратил не меньше четверти часа и сломал себе при этом ноготь на большом пальце) и мне пришлось в итоге довольствоваться разномастными носками – других почти не было, – которые я сложил попарно в стопку, а перспектива путешествовать вообще без всякой карты меня даже порадовала.

И как-то вдруг я освободился от спешки, проистекавшей от ощущения цейтнота, владевшего мной, совершенно беспочвенного, охватывавшего меня по временам, не только в момент, когда я трогался в путь, от чего у меня, как правило, совершенно перехватывало дыхание, но и за час до того, что действовало почти убийственно. Все, больше никаких часов. Книга жизни? Чистые листы. Конец сну. Конец игре.

Теперь же, неожиданно-негаданно, цейтнот улетучился, стал беспредметным. И все время мира стало вдруг моим. Мне много лет, но времени у меня оказалось больше, чем когда бы то ни было. А книга жизни – она лежала передо мной, открытая, в моей полной власти, и страницы ее, особенно ненаписанные, сияли на ветру мира, этой земли, здешности. Да, наконец, не сегодня, не завтра, но очень скоро, я увижу наяву мою воровку фруктов, как живого человека, целого, а не просто как отдельные части-фантомы, попадавшие мне на протяжении

всех предшествующих лет на глаза, уже постаревшие от возраста, в основном в толпе, всегда на расстоянии, и всякий раз дававшие мне толчок. Теперь – в последний раз?

Неужели ты забыл, что неприлично говорить «в последний раз», как неприлично говорить о «последнем бокале вина»? А если и говорить, то как тот ребенок, которому разрешили доиграть «в последний раз!» (скажем, на качелях или на горке), а он все равно кричит: «Еще разок, самый последний!», – и потом снова: «Еще один, последний раз!». Кричит? Ликует! – Но ведь и ты сам частенько возвещал о том же. – Да, но в другой стране. Ну и что?

В тот летний день я не взял с собой ни одной книги и даже убрал со стола ту, которую читал утром, средневековую историю – о молодой женщине, которая, чтобы изуродовать себя и тем самым избавиться от внимания преследовавших ее мужчин, отрубила себе обе руки. (Отрубить себе обе руки? Только ли в средневековых историях такое возможно?) Мои записные книжки и блокноты я тоже оставил дома, отправил под замок, спрятав от себя самого и заранее смирившись с тем, что рискую их так никогда не найти, и запретил себе, по крайней мере, в ближайшее время, к ним обращаться.

Прежде чем тронуться в путь, я уселся, пристроив походный мешок у ног, прямо посреди сада, на единственный стул, или даже скорее табурет, на расстоянии от деревьев, и главное, подальше от столов, – и того, что под бузиной, и того, что под липой, и того, что под яблонями, самого большого или, во всяком случае, самого внушительного. В моем представлении я, сидя вот так без всякого дела, более-менее прямо, закинув ногу на ногу, нахлобучив на голову соломенную походную шляпу, олицетворял собою того садовника по имени Валье (или как-то так), которого Поль Сезанн под конец жизни не раз писал или рисовал, особенно в 1906 году, в год смерти художника. Садовник Валье на всех этих картинах, причем не только из-за шляпы, бросающей тень на лоб, предстает с почти скрытым лицом или лицом, как видится мне в моем воображении, без глаз, а нос и рот как будто стерты. Только контур лица сидящего там запечатлелся у меня теперь в памяти. Но что за контур! Контур, силою которого обрамляемая им почти пустая поверхность лица олицетворяет собою, выражает и сообщает нечто большее, чем то, что была бы в состоянии передать любая тщательно прорисованная физиономия, – или, по крайней мере, представляет собою нечто другое и транслирует нечто принципиально другое – принципиально другой род игры. Разве нельзя было бы перевести французское имя садовника «Vallier», переименованное мною в «Vaillant», как «надзиратель», нет, как «присмотрщик», «бдящий» или просто «бодрствующий», разве такое имя не подошло бы ко всей физиономии садовника Вайе вместе с полуисчезнувшими органами чувств, будто стертыми ушами, носом, ртом, а главное – глазами?

И вот когда я так сидел, погруженный в бдение и одновременно словно во сне, в другом сне, неожиданно на меня налетел чей-то голос, приблизившись ко мне вплотную, – ближе не бывает, – к самому уху. Это был голос воровки фруктов, вопрошающий, нежный и вместе с тем определенный, – нежнее и определеннее не бывает. О чем же она меня спросила? Если я правильно помню (ведь наша история – дело прошлое), ни о чем таком особенном она не спрашивала; сказала что-то вроде «Как дела?», «Когда ты едешь?» (хотя нет, память восстановила забытое). Она спросила меня: «Вас что-то беспокоит, сударь? О чем вы так тревожитесь? Qu'est-ce qu'il vous manque, monsieur? C'est quoi, souci¹?» И это был один-единственный раз за всю историю, когда воровка фруктов адресовалась ко мне с прямым вопросом, используя личную форму. (Почему я, кстати говоря, решил, что в тот первый и единственный раз она обратилась ко мне на «ты»?) Но самым необыкновенным при этом был ее голос, голос, какой нынче стал большой редкостью, а может быть, и всегда был большой редкостью, голос, исполненный заботливости, но без тревожной интонации, а главное – это был не просто голос, но голос терпения, терпения, проявляющегося не только как свойство, но и в значительно большей

¹ Чего вам не хватает, месье? Вы о чем-то тревожитесь? (фр.)

степени как деятельность, как постоянное деятельное начало, – в смысле «набираться терпения» и одновременно «терпеть»: «Я набираюсь терпения и терплю тебя, его, ее – всех и вся без разбору, всё подряд, и притом беспрестанно». Никогда в жизни подобный голос не переменял бы своей модуляции, не говоря уже о том, чтобы вдруг перескочить к пугающе другой, – как это случается, по моим наблюдениям, с большинством человеческих голосов (в том числе и с моим собственным), но особенно резко проявляется в женских. Скорее этот голос был постоянно подвержен опасности сойти на нет, умолкнуть, еще чего доброго – о нет! могущественные силы, спасите мою воровку фруктов! – навсегда. Этот голос, звучащий и по прошествии многих лет у меня в ушах, соотносится, думается мне, с тем, что однажды сказал один актер в интервью, отвечая на вопрос, как его голос помогает ему сыграть ту или иную сцену в фильме: по его словам, он всегда улавливает – причем не только у себя, – насколько в той или иной сцене или во всей истории звучит «правильная тональность», и правдоподобие отдельных сцен, как и фильма в целом, он оценивает не по тому, что видит, а по тому, что слышит. После чего актер со смехом добавил фразу, благодаря которой я на какое-то мгновение встал на его место: «У меня, кстати, очень хороший слух, достался мне от мамы».

Был самый разгар дня, классический полдень, какой бывает, наверное, только в первую неделю августа. Все соседи в ближайшей округе словно исчезли, и случилось это не вчера. Казалось, что они не просто перебрались на лето в свои другие квартиры или шале во французских провинциях. Мне представлялось, будто они вообще выехали куда-то далеко-далеко, подальше от Франции, вернулись на родину предков, в Грецию, в португальское «загорье», в аргентинские пампасы, на берега японского Восточного моря, на испанскую Месету – и в первую очередь в русские степи. Их дома и хижины в Ничейной бухте все как один стояли пустыми, и, в отличие от предыдущих лет, за все дни и ночи, предшествовавшие моему отъезду, ни разу нигде не сработала сигнализация, даже в тех немногочисленных, уже давно припаркованных, оставленных без присмотра автомобилях без живых двигателей.

Все утро, как и в предшествующие дни, царила тишина, которая с каждым следующим часом распространялась вширь, выходя за пределы или окраины пространства бухты, и в которую эпизодически вторгалось, как правило, трехтактное карканье ворон, не столько прерывавших тишину, сколько разносивших ее, вероятнее всего, дальше по окрестностям. Теперь же, с наступлением полудня, пространство, объятые неслышимым и незаметным по дрожанию летней листвы безветренным дуновением или скорее дополнительным потоком воздуха, лишенным всякого движения, дополнительной изливающейся воздушной струей, не ощущимой вовне, не касающейся кожи ни на руках, ни на висках – ни один листок, даже самый легчайший, на липе, больше не шевелился – это пространство заполнилось, причем в одночасье, тишиной, опустившейся мягким, но мощным рывком, покрывая собою ландшафт земли, чтобы вызвать к жизни ни с чем не сравнимое явление, повторяющееся каждое лето, но длящееся только одно мгновение, когда ландшафт, уже и до того погруженный в тишину, оседал или погружался еще глубже под действием этой неожиданно-негаданно слетевшей с небесных высот новой порции тишины и, несмотря ни на что, продолжал оставаться знакомой выпуклой, округлой, несущей поверхностью земли. И все это происходило вне пределов слышимого, видимого, осязаемого. Но тем не менее было явным и очевидным.

О погружении в ландшафт я издавна грезил в моих снах наяву. И эти грезы всякий раз, пусть на одно-единственное летнее мгновение, исполнялись, по крайней мере, так случилось на протяжении двадцати пяти лет моего существования в одном и том же месте.

Вот и в тот день, незадолго до того, как я выдвинулся в путь в сторону департамента Уаза, на короткое, давно ожидаемое мгновение к царящей тишине добавилась еще одна. Она явилась как всегда. И все же в этот раз кое-что было не как всегда, совсем не как всегда.

Как всегда, когда я поднял голову, я увидел в небе над собой кружащего по размашистой серповидной траектории орла, который до сих пор всякий раз надежно оживлял собою тот

уникальный момент, тихо петляя в вышине как его следствие и продолжение. Мне представлялось, что это одна и та же птица, появляющаяся из года в год, вырвавшаяся из заповедника к западу от леса возле Рамбуйе, который она делила с соколами, канюками, а также с коршунами и совами, и теперь, двигаясь воздушным путем в восточном направлении к окраинам Парижа, закладывала виражи, выписывая спирали над тихой бухтой. И как всегда эта птица, которая прочерчивала у меня над головой свои сферы, предназначавшиеся исключительно для этой местности, представлялась мне орлом, хотя это мог быть всего лишь – почему всего лишь? – канюк или коршун, но я, как всегда, определил его для себя: орел. «Привет, орел! Эй, ты! Как дела? Qu'est ce tu deviens?»²

Совсем не как всегда было то, что орел летел так низко. Я никогда еще не видел, чтобы он кружил так близко к верхушкам деревьев и крышам домов. Все эти годы даже ласточки, парившие высоко в синеве, были все равно на несколько небесных этажей ниже орла. Теперь же ласточки прокладывали свои пути над ним, и я видел при этом, что они – и это тоже было не как всегда – не столько прокладывают свои пути, сколько, опустившись значительно ниже, чем обычно, и находясь над самым орлом, мечутся туда-сюда, мелькая молниями тут и там.

Местность осела в очередной раз, как и во все прежние годы. Но поверхность земли вместе с подпочвой не сохранила своей твердости и округлости. В течение нескольких мгновений вместо привычного образования прекрасной ложбины или манящего углубления, в которое так и тянуло погрузиться, я видел резко проседающую поверхность, крушение, которое несло в себе угрозу не только для меня.

В тот день рисовавшаяся в воображении тишина тогда действительно обрушилась на меня, пусть всего лишь на секунду, ударной волной разразившейся где-то мировой катастрофы. На какой-то миг мне с совершенной ясностью открылись и причины, не воображаемые, – вполне ощутимые, веские, неопровержимые: подобное погружение местности, теперешняя тишина вместо того, чтобы служить толчком к движению, несли в себе угрозу и скорбь, угрожающая тишина и одновременно устрашающая, тишина умирания: ужасающе тихая и столь же ужасающе оцепеневшая.

Эта тишина, она выражала то, что история последних месяцев и лет, с убийственной остротой, теперь, на втором десятилетии предполагаемого третьего тысячелетия, причинила людям не только во Франции, хотя по ней пришелся достаточно мощный удар, но и это в тот миг оставалось неслышимым, невидимым, неосознаваемым, и все же очевидным – по-своему очевидным. Все те белые бабочки, которые перемещались, выписывая кривые, по тихому саду, – каждая сама по себе, все они, как представилось мне, одновременно рухнули на землю. И тут же из-за живой изгороди, составленной из кустов бирючины, из соседского сада, раздался вскрик, который донесся до меня в виде предсмертного крика.

Но нет-нет: долой смерть. Никакой смерти тут не было и в помине: просто вскрикнула молодая соседка, которая занималась вышиванием, сидя тихонько в плетеном кресле, и уколола себе палец. Несколько недель назад, – бирючина тогда еще цвела и благоухала так, как благоухает только бирючина, – я видел сквозь листву, как она там сидит, скорее угадывая общие очертания фигуры в длинном светлом платье, обтягивавшем большой круглый живот беременной женщины. С тех пор ее и след простыл, и вот теперь этот вскрик, за которым последовал смех, как будто молодая женщина смеялась над собой – так кричать из-за ерунды.

И тут же следом за вскриком послышалось хныканье, скорее кваканье, какое можно услышать только у новорожденного, пробудившегося от своего младенческого сна из-за матери, вскрикнувшей от боли. Добрые вести! Кваканье понравилось мне. К сожалению, оно было непродолжительным. Молодая мать дала ему грудь или утихомирила чем-то еще. Тишина за изгородью. Я готов был еще долго прислушиваться к этому хныканью, хотя оно было слабень-

² Что поделываешь? (фр.)

ким и доносилось как будто из пещеры. До следующего укола пальца, *jeune brodeuse*³, завтра, в то же время! – Вот только завтра я уже буду совсем в другом месте.

В тот летний день все было совсем не как всегда? Глупости: все было как всегда. Все? Все. Все было как всегда! Кто это сказал? Я. Я так решил. Постановил. Я заявил: было как всегда. Восклицательный знак? Точка. Когда я потом стал вглядываться в происходящее за изгородью, мой взгляд уперся в большой, единственный глаз – глаз младенца, который не мигая смотрел на меня, и я попытался сделать то же самое.

И точно так же, как меня в такой день впервые за год кусала пчела, точно так же, подобным же образом, *simili modo*⁴, с той же надежной неизменностью, вместо отдельных, словно падающих с высот воздушного пространства больших беловатых бабочек появилась парочка бабочек, которых я про себя называл «балканскими». Такое название они получили потому, что некоторая особенность их парного полета, являвшего собой необычный феномен, впервые открылась мне в свое время – давным-давно, – когда я странствовал по балканским просторам. А может быть, это название закрепилось у меня из-за неприметности мелких летуний, когда они враскачку куда-то устремлялись или сидели тихонько, устроившись на заросшем газоне, еле заметные.

Да, как всегда, теперь закружилась тут в первый раз за год такая вот парочка балканских бабочек. И как всегда во время их танца обнаружилась та особенность, какая мне не встречалась ни у одной другой пары бабочек. Это был танец, вверх-вниз, вправо-влево, во все стороны, который продолжался некоторое время более или менее на одном месте (пока не перемещался на другое, где повторялись те же па) и в процессе исполнения которого танцующие, беспрестанно хаотично кружась, тройлись. Можно было как угодно настраивать глаза, чтобы справиться с этой троицей, и увидеть в ней именно тех двух, которые, как ты знал, в действительности хороводились тут: бесполезно; как ни смотри, их было трое, трое неразлучных. И ничего с этим было не поделать, даже теперь, когда я поднялся со своего стула, чтобы, оказавшись на одном уровне с танцующей парой, глаза в глаза, разобраться с этим хитрым трюком: прямо передо мной, в непосредственной близости, резвились эти двое, то слетаясь вплотную, то разлетаясь в круг, неразрывно связанные между собой, в тройственном союзе, который хотя и можно было на какое-то мгновение одним движением руки расстроить, или даже раздвоить, даже разъединить, чтобы убедиться – танцующих однозначно двое, – но уже в следующее мгновение они снова рассекали воздух втроем.

Но зачем их разделять, зачем хотеть увидеть, каковы они в действительности, зачем нужно убеждаться в том, что их всего-навсего двое? Ах, время. Время в избытке.

Я снова сел и принялся опять наблюдать за парой бабочек. Ах, как сверкало всякий раз в танце триединство обоих. *Dobar dan, balkanci!*⁵– Эй, вы! Что с вами будет? *Srećan put*⁶. – Мне вдруг впервые подумалось, насколько эта парочка, стремительно перемещающаяся с места на место во время танца, напоминает игру в наперсток, любимое развлечение на всех балканских тротуарах. Обман? Надувательство? – И опять можно сказать: ну и что? *Sve dobro*⁷. Всего доброго.

Пора двигаться! Перед тем обычный прощальный обход дома, сада, по временам с разворотами, чтобы двигаться задом наперед. Обычный? На сей раз в моем обходе не было никакой обычности. Или иначе: я обходил дом, как уже делал не раз ввиду грядущего продолжительного отсутствия. Но мною владело совершенно иное чувство, которое никогда еще не подступало

³ Юная вышивальщица (фр.).

⁴ Подобным образом (лат.).

⁵ Добрый день, балканские! (хорват.).

⁶ Счастливого пути (хорват.).

⁷ Всего доброго (хорват.).

ко мне с такой навязчивостью: боль прощания, хотя и не новая, неоднократно испытанная, но обострившаяся до крайности от ощущения: навсегда.

Ни одного дерева, по крайней мере, плодового, которое не было бы посажено лично мной. (Довольно халтурно, ну и что: «Халтурщик!» – это слово чаще всего приходило мне на ум, когда я обращался сам к себе, с незапамятных времен, и относилось оно не только к моим попыткам сделать что-нибудь собственными руками.) По привычке я пересчитал немногочисленные орехи на кривом ореховом дереве в неизбывной надежде, что кроме тех четырех, выявленных мною среди листьев, сегодня обнаружится еще один, пятый. Ничего. Даже четвертый орех не нашелся. Но по крайней мере грушевое деревце, не в последнюю очередь благодаря своей редкой, раньше времени скукожившейся листве, красовалось, щеголяя полным набором из шести груш, – за ночь они даже как будто ощутимо выросли и округлились, приблизившись к стандартной форме тех груш, что обыкновенно продаются в магазинах, в то время как на айве, – *le cognassier, dunja*⁸, бывшей еще за год до того настоящей рекордсменкой по количеству плодов, не было ничего, кроме листьев с ржавыми пятнами. Воровке фруктов тут нечем будет поживиться, и тем не менее я снова, как и каждое утро после того бело-белого дождя облетающих цветов, воздвигся перед айвой, не просто с надеждой, но с твердым намерением именно сейчас, в этот момент, в самой потаенной глубине листвы, все же обнаружить хотя бы одну представительницу этого рода, имеющего свою особую грушевидную форму и свой особый желтый цвет, хотя бы одну-единственную «*dunja*».

В описываемый день намерение – «Сейчас я ее найду, единственную айву, которая до сих пор скрывалась от глаз в недрах этого якобы бесплодного дерева!» – претерпело существенные изменения, дойдя до крайности. Обходя шаг за шагом айвовое дерево, останавливаясь, задвигая голову, вглядываясь, возвращаясь назад и снова двигаясь вперед, и так по кругу, я довел свое намерение до того, что оно превратилось в неистовое желание дать волю глазам, чтобы они сами явили в пустоте надо мной отсутствующий плод, заставили бы только силою моего взгляда, проникающего сквозь стену ошетилившихся листьев-ланцетов, выйти из потаенного уголка, едва заметного, крошечного, «ту самую, которая», дабы она явилась на свет и начала теперь прямо сейчас круглиться и обретать форму. И на какую-то долю мгновения показалось, будто чудо свершилось: вот он, висит, этот плод, тяжелый и ароматный. Но потом... И все же, – сказал я себе, – не зря старался, зато теперь могу подолгу ходить с задранной головой, в дальнейшем пригодится. А дальше: прекратить считать. «Счетовод», «Исчисляющий»: одно из девяноста девяти прозвищ вашего бога? Вычеркнуть «Исчислителя» из списка, как и все девяносто девять имен, особенно «Милосердного» и тем более то, которое считается еще более всеохватным, – «Всемилоостивого». Долой «Всемогущего»! Или все же оставить богу одно имя: «Слововод». И, может быть, еще одно: «Свидетель», «Свидетельствующий». И, может быть, еще то одно, которое в вашем списке из девяноста девяти имен идет девяносто девятым: «Терпеливый». То есть все равно исчисление и, стало быть, цифры? А не то что: имя, и еще одно, и еще одно. Разве яблоки как на одном дереве, так и на других деревьях сада не были бесчисленными – неисчислимыми?

Уже направившись к калитке, на ходу, я развернулся, пошел назад и спустился в подвал. Долго стоял я там перед картофельными мешками, пилами, лопатами и граблями – память сохранила разлетающийся когда-то фонтан искр от щебенки, – расшатавшейся подставкой для настольного футбола, детской кроваткой без матраса, ящиком с документами и фотографиями предков, и все никак не мог вспомнить, что же привело меня в подвал. Ясно было только одно: я хотел там что-то сделать, осуществить, добыть, взять что-то, что мне было нужно или просто нужно в принципе, причем срочно. Не в первый раз я так стоял перед чем-нибудь, в кухнях, коридорах, в целых домах, спрашивая себя, что, скажите на милость, я потерял в этом

⁸ Айва (фр., хорват.).

помещении или что мне тут нужно сделать. Вот и теперь, не знаю, в который уже раз, я все стоял и стоял в пустоте, а предмет, нужное действие, важное дело так и не вспоминались. С другой стороны, налицо было желание, – необходимость сделать нечто. Там, в подвале, мне надлежало действовать – вот только что мне нужно было сделать и как? И одновременно, перед всеми этими вещами, я понял, что и с моим отбытием из парижских окраин в Пикардию, в самую что ни на есть глубинку, все складывается похожим образом: у меня там было вполне определенное дело – что-то осуществить, взять, добыть. Когда я шел к калитке, я еще знал, что именно. Но: в данный момент у меня все вылетело из головы. И одновременно от этого кое-что зависело, – если не все, то многое. То, что мгновение назад было вполне определенным, вдруг стало неопределенным – хотя от этого не менее настойчивым. Скорее более настойчивым. А главное – это вселяло тревогу, как вселяло в меня тревогу стояние в подвале дома. Добро пожаловать, неопределенность? Добро пожаловать, беспокойство?

Последний взгляд, через плечо, на уже распахнутую калитку, на участок, мой. Мой? Отвращение, соединенное с усталостью, навалилось на меня при виде всей этой собственности. Собственность – это нечто, фундаментально отличающееся от того, чем я владею. Или иначе: то, чем я владею, не имеет ничего общего с этой дребеденью, – так думал я, – которая мне принадлежит; на которую у меня есть права. Мое имение, оно не принадлежало мне по праву, я не мог ни делать на него ставку, ни положиться на него. И тем не менее оно, от случая к случаю, хотя и не так, как законное имущество, позволяло пользоваться имеющимся, чтобы сидеть, стоять, ходить, перемещаться по кругу.

Сходным образом мне с давних пор претил любой взгляд на то, что в общепринятом понимании называется «творение», по крайней мере, если так называлось «мое». Уже от одних только слов «кабинет» или, того хуже, «творческая мастерская» мне становилось противно. В каждой комнате в доме, в кухне и снаружи, в саду, десятилетиями я занимался своим делом. Но я избегал даже мимолетного взгляда туда, где была опасность, что там может обнаружиться, пусть один-единственный, след моей деятельности или, упаси боже, результат. И тем не менее случалось, что по временам меня непроизвольно и против моих убеждений тянуло к произведенному мной «изделию» и я, недолго! обозревал его, взвешивал на руке и так далее, и тому подобное. Это было еще более или менее терпимо, протекало без последствий и по-своему забавляло, особенно когда я принимался обнюхивать «изделие», запах которого меня одновременно трогал, даже волновал и подкреплял. Но стоило мне раз углубиться в сделанное и буквально погрузиться в него, оно сразу же, причем не только в данный конкретный момент, теряло свою ценность, а главное – аромат. Сделанное выдыхается, и я, попав в эту пыльно-сухую струю, слабел, доходя до крайней, небывалой степени слабости. Вот почему у меня укоренилась привычка обходить стороной эти бывшие производственные точки в доме или в саду – даже те, что в лесах, возле «Безымянного Пруда», на «Новой Прогалине», на «Дороге отсутствия», – или проскакивать мимо них украдкой, словно такие места несли на себе печать чего-то порочного. И только если я был твердо уверен в том, что эти места, в доме и вовне, совершенно пусты и там не обнаружится никаких следов и результатов моей былой деятельности, я мог спокойно проходить мимо них, не таясь. Более того, при взгляде в ту сторону я, наоборот, замедлял шаг. Правда, при этом на меня и тут наваливалась слабость. Но такого рода слабость воспринималась мною не как опасная утрата внутренней опоры. Она прилетела ко мне наподобие тоски и была, отличаясь от всех ее таких разнообразных и противоречащих друг другу видов, испытываемых в возрасте, последней и, по ощущению, самой долговременной из отпущенных мне, соединенной, а по временам и накрепко связанной со страхом. Тоска и тревога.

Какое чувство легкости в сравнении с «творением» и «собственностью» рождалось при виде «творений природы». По всей округе за прошедшие четверть века земля тут многократно перекапывалась, насыпалась, выравнивалась, сглаживалась. Только у меня, так, во всяком случае, мне представлялось, земля, садовый участок были оставлены в покое благодаря моей лено-

сти или благодаря чему-то еще. И надо же, за эти несколько десятилетий газон, бывший при моем вступлении в права владения ровнее ровного, преобразовался до основания благодаря (опять «благодаря») действию воды и погоды в гармоничную холмистую местность, в совершенно особый, пассивно отдававшийся разворачиванию и одновременно сам активно разворачивающийся Холмистый мир, с равномерно прочерченными возвышенностями и впадинами, напоминавшими миниатюрные долины и холмы, которые тянулись цепочками во все стороны до самых горизонтов (горизонтов соседских изгородей), складываясь в бодрящий сердце узор. Земля тут шла волной, вверх, вниз, вверх, вниз, и волны эти с каждым годом становились все мощнее и подчинялись собственному ритму, который при ходьбе, во время неспешных прогулок и обходов, ощущался ступнями, поднимался до колен и выше, до самых плеч. Вот видишь, Природа, великая, сообщила выровненной поверхности ритм, эта земля теперь излучала ритм, и я представил себе к тому же, что воровка фруктов, шагая по долинам и по взгорьям, как раз остановилась на верхушке одного из холмов и приставила ладошку ко лбу, вглядываясь в дали, или легла в траву и, как делали мы в детстве, скатилась по склону пригорка. Да, вот это и было моим владением. В тот же момент, где-то в самой глубине, мелькнула, тихо, и тут же уплыла картинка одной совершенно определенной деревни на Карсте, всего лишь стена дома, увиденная мною там, на ходу, в незапамятные времена, но только сейчас опознанная мною, только сейчас ожившая картинка, которая с тех пор пребывала где-то во мне – в клетках? в каких же? – готовая вспорхнуть и упорхнуть. То и дело они вот так вот мелькают, вспыхивая, и сегодня еще, необъяснимые, загадочные, эти немые, всякий раз безлюдные моментальные картинки из прошлого, как правило, давно прошедшего прошлого, без всякой связи с каким бы то ни было текущим событием, не подсказываемые памятью и не вызываемые к жизни никаким воспоминанием, припорхнут, блеснут и снова исчезнут, не измеримые никакой единицей времени, остающиеся иногда на недели, иногда на один-единственный день, проходя сквозь меня метеоритным дождем образов, свободных от всякого значения или всякой значимости, и тем не менее каждую такую картинку, особенно после долгого перерыва и в тяжелые дни, даже если они не горят ярким светом, а только просто вспыхивают, копят, чадят, я приветствую словами: «Стало быть, еще не все потеряно!»

Три письма, выуженные из почтового ящика на воротах, были отправлены неоткрытыми в карман, – прочту в дороге. Сразу было видно, что эти письма, какие приходят исключительно в разгар лета, вполне заслуживают того, чтобы называться таковыми – адрес, не напечатанный, а написанный по-настоящему, от руки (и ни один не подделан какой-нибудь механической машиной). Первые недели августа были тем временем, когда можно было рассчитывать на то, что государство наконец-то оставит тебя в покое, хотя определенно даже на это положиться было нельзя. Но в данном случае речь однозначно шла о летних письмах, как в книгах, а если до сих пор такие письма в книгах не встречались, то, по крайней мере, они попали теперь сюда. Уже одни конверты отличались от обычных, бумага, проложенная изнутри вторым слоем, шуршала, пахла чем-то и была рельефной, что выглядело обещающе. Почерк на двух из трех конвертов я узнал, он принадлежал моим друзьям, хотя и отличался вместе с тем от написанного в прочие месяцы по величине букв и расстоянию между ними. Как бы то ни было, значит, они еще есть, друзья, и тот, и этот. На третьем конверте, без отправителя, в качестве адреса было указано только «Ничейная бухта», написано неизвестным и, по моим представлениям, не специальным, летним почерком. Но и этот конверт шуршал многообещающе и был тяжелее, чем два других. Его я открою в последнюю очередь. Попутно мне стало как-то совестно, и это не в первый раз, уже немало лет подряд, от того, что почтарше, у которой за это время появилось много седых волос и которая скоро станет бабушкой, придется снова сворачивать с главной дороги и катить на своем велосипеде до самых ворот в конце аллеи, – одного из тех редких мест, так думал я, в ее ежедневном маршруте, куда еще доставляется, по крайней мере, время от времени, обычная письменная корреспонденция.

Ни одной машины не ехало больше по главной дороге (которая у меня обыкновенно называлась «Carretera», «Magistrale» и «Tariq Hamm»⁹), причем казалось, что это навсегда. И точно так же умолкла последняя собака в округе, не только из-за послеполуденной жары. Пронзительный писк ласточек, звучавший целый день и даже месяц, умолк, и вместе с тем исчез орел, до следующего лета – может быть. Но, с другой стороны – почему «с другой стороны»? – тишина не была безмолвной. Тишина, которая царила теперь, совершенно беззвучная, сошла на меня как молчание – умолчание. Это молчание не было тем молчанием бесконечных пространств, которое нагоняло ужас на Блеза Паскаля, но было молчанием, которое излучало – да-да – только данное пространство, здесь и сейчас, общее тихое молчание, каковое происходило отнюдь не из какого-то самовольного безвременья, а было следствием удержания и осознания времени, причем такого удержания и осознания, которое продолжало действовать секунда за секундой и в другие моменты, охватывая время как нечто вполне материальное, не химерическое, как другое время внутри так называемого реального времени, но только более мимолетное, чем обычно, более явственно ощутимое именно в такие мгновения раскинувшегося до горизонта тихого молчания, молчания весьма красноречивого, сияющего и заставляющего содрогнуться в том смысле, в каком сказана фраза: «Дрожь – лучший человеческий удел»¹⁰. И все же это теперешнее тихое молчание между небом и землей было сжатым, оно сжималось и сжималось, но это сжатие напоминало сжатие кулака, который, разжавшись, демонстрировал со всею очевидностью: сжатие было всего лишь видимостью, мгновением, предшествующим наимягчайшему раскрытию. Подобное молчание, подумал я, все еще стоя перед садовой калиткой, мне не дано будет наблюдать в Пикардии, местности малонаселенной, даже в течение одной дрожащей секунды, и не только потому, что там в ближайшие недели на всех полях, день и ночь, будут гроыхать уборочные машины, и мой взгляд устремился, пройдя через сад, к входной двери дома и порогу под ней, который в свое время, когда я сюда въехал, был сделан по моему заказу из эмали вместе с надписью, фрагментом стиха, кажется, из Откровения, греческими буквами: «ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα»¹¹. Сын останется в доме на века. – Остаться? Вернуться в дом? Я вышел за ворота и затворил калитку. Я даже решил, против обыкновения, не притворять ее, как я это делал, уезжая надолго, а запереть, причем на два оборота. Но при втором повороте изрядно проржавевший ключ сломался, и мне вспомнился тот давний летний день, когда меня, подростка, попросили принести что-то из машины, а я, открывая машину, сломал ключ и возвратился, сгорая от стыда, с пустыми руками, на что моя мама, обращаясь к гостям, с гордостью сказала: «Вот какая силища в руках моего сына!» А что подумал я, теперь глядя на сломанный ключ от калитки? «С воровкой фруктов такое бы не случилось!»

Теперь к проселочной дороге, через кипарисовую аллею, в гору. В действительности и проселочная дорога не была дорогой, и кипарисовая аллея не была аллеей. Но я определил их так, для этой истории и, самонадеянно равняясь на какого-нибудь Вольфрама фон Эшенбаха, для эпизодического использования за ее пределами. А вот что, можно сказать, «соответствовало действительности», так это подъем: тропа, которая вела через аллею к проселочной дороге, плавно поднималась в гору. Обычно, когда я покидал дом, такие подъемы шли мне на пользу, позволяя чувствовать землю под ногами и укрепляя колени. В описываемый же день благотворное действие подъема никак не проявилось, и дело было не только в ботинках, которые, как я понял только теперь, для предстоящих дальних и тяжелых – и прекрасно! – походов были слишком легкими. Вернуться ради пары сапог или высоких, на толстой подошве, надежных, сто раз опробованных за десятилетия башмаков «John Lobb»? Возврат исключался, и не

⁹ Магистраль (исп., нем., арабск.).

¹⁰ И. В. Гёте. Фауст. Ч. 2 («Мрачная галерея»), перевод Н. А. Холодковского. *Здесь и далее примеч. переводчика.*

¹¹ Сын пребывает вечно (греч.). – Полный текст: «Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно» (Ин. 8:35).

важно, по какой причине. Из-за застрявшего в замочной скважине ключа? Нет: я мог бы вернуться, воспользовавшись только мне одному известной дырой в каменном заборе. Без всяких «почему». И это определял уже не я, а сама история.

В конце аллеи стояла машина, пустая. «На моей аллее!» Нежданно-негаданно я стал собственником, который не желает видеть у себя на участке посторонний предмет и готов разбить стекла камнями этому непрошеному объекту. Правда, под рукой имелся только мелкий гравий, да и то основательно втоптаный в землю. Боже ты мой: да ведь это машина врача, видно по круглой нахлопке с эскулаповой змеей возле «дворников»! Неужели эта медицинская машина прикатила за мной? Неужели пора? И непроизвольно я стал вглядываться в салон, пытаюсь разглядеть, нет ли там сзади носилок с разными ремнями, чтобы привязать меня как следует для транспортировки.

И только тут я вспомнил, что машина эта принадлежит медсестре или врачу-терапевту, которая уже на протяжении многих лет приходила раз в неделю ухаживать за больным соседом в доме на углу аллеи и магистрали. На магистрали припарковаться было нельзя, и потому договорились, что женщина будет ставить свой автомобиль на «моей аллее». Мне это было даже лестно. Это давало мне возможность отплатить соседу добром за то зло, которое он причинил мне – кстати говоря, безо всякого злого умысла, как это нынче случается сплошь и рядом, – в те времена, когда он еще твердо, пожалуй слишком твердо, стоял на ногах.

Мы как-то сошлись с ним еще до его болезни. Жена его умерла, эта морщинистая особа, словно постаревшая уже давным-давно, была единственной в семье – у них еще имелись дети, в которых с малолетства не ощущалось ровным счетом ничего детского, – кто показывался время от времени не только в моменты выхода из дома, запуска двигателя машины, отъезда, возвращения, открывания дверей, закрывания ставней, но и показывался в принципе, с чашкой кофе или бокалом перед вокзальным баром, идущей по боковой улочке, или в одиночестве, без мужа и детей, в окрестных лесах, летом, в ту же пору, что сейчас, когда созревает ежевика, которую она, умело внедряясь в колючие кусты, ловко собирала в жестяной бидончик, словно спрятанный в складках одежды, и делала это украдкой, как будто собирание ягод было для нее, жены такого непростого человека и матери его равно повзрослевших детей, чем-то непозволительным, и так же украдкой она посматривала иногда на меня, забравшегося еще глубже в колючие заросли и занимавшегося, на некотором отдалении, тем же делом, бывшим ниже и ее, и моего достоинства, и в уголках ее глаз читалось заговорщицкое одобрение, а в какие-то моменты даже чертовская радость.

Аллея, в сущности, заканчивалась возле моей усадьбы, но, миновав ее, она превращалась в дорожку, по которой можно было доехать до небольшой улочки, шедшей параллельно к магистрали, и сосед, бывало, пользовался аллеей как объездным путем, чтобы проскочить побыстрее по боковой улице, избавляя себя от пробок, частенько образовывавшихся на главной дороге. Он не имел на это ни малейшего права – это была моя! мною лично, собственноручно обихоженная! посыпанная гравием! постриженная! аллея! (восклицательные знаки – мои). Он присвоил себе это право, не задумываясь особо, – неумышленно. И в результате, главным образом на повороте между аллеей и ее продолжением, там, где мой сосед, с грохотом мчась на всех парах, слегка притормаживал, гравий и щебень разлетались в стороны, уступая место более или менее глубоким пробоям, из которых складывался свой Холмистый мир, отличный от произведения природы там, за забором, в саду, и заставлявший меня, ввиду образовавшихся ям, тянувшихся цепочкой, браться за лопату и грабли и, чертыхаясь, еженедельно, превращаться в дорогоукладчика, только уже через неделю вереница гравиевых холмов и впадин, уходивших к проезжей дороге, по-новому ритмически организованных, превращающихся во время дождя в серию маленьких водоемов, была на том же месте, бросаясь мне в глаза своей первозданностью.

После смерти его жены на аллее долгое время было не слышно и не видно никакой машины, тем более мчащейся на полной скорости. Только нескрываемый отдаленный гул магистрали, который я давно принял, включая резкий шум и даже рев. И вдруг однажды утром перед воротами сада какое-то шкрябанье, которое все продолжалось и продолжалось. С некоторыми паузами, одна, потом еще одна, оно было непрерывным, монотонным и раздавалось там, прямо сейчас, на аллее. Что там происходит? Что там делается? И вдруг я догадался, еще ничего не видя. Я отворил ворота, за которыми мой сосед, с граблями в руках, гораздо более эффективными, чем мои, умелыми движениями, гораздо более профессиональными, чем те, на которые был способен я, засыпал по всей аллее ямы и пробоины. Он тихо плакал при этом. Он взглянул на меня и продолжал плакать, сгребая граблями гравий. Когда я подошел к нему и обнял, раздался всхлип, какого я еще никогда в жизни не слышал.

Какое-то время мой сосед, щадя аллею, не показывался тут со своей машиной. В лучшем случае он проходил по ней пешком, стучал в знак приветствия по калитке, и я приветствовал его в ответ. Я даже увидел его, впервые за все время, идущим по берегу бухты – событие неслыханное, хотя он обычно, независимо от того, отправлялся ли он в супермаркет, находившийся на расстоянии нескольких домов, или в магазин садового инвентаря и стройматериалов, до которого было рукой подать, или в агентство недвижимости, в котором он изучал каждый божий день движение местных цен на участки и дома и которое располагалось чуть ли не в двух шагах от его жилища, неизменно садился в машину; и на отпевание своей жены в местной церкви, до которой было идти всего ничего, он, сидя на заднем сиденье, покатил по аллее на грохочущей машине, в которой кроме него были его взрослые дети и кто-то еще, его возраста.

Странно было видеть потом, как он идет пешком, словно голый, без оболочки, какой-то неуклюжий, сам себе чужой, по обочине, держа в руках багет или починенные ботинки, двигаясь иногда по тротуару, а однажды даже он повстречался мне в лесу, недалеко от ежевичной прогалины.

Некоторое время спустя я, правда, услышал, как он опять катит по аллее, хотя и медленно, словно шагом, тихо, осторожно. А еще позже он уже снова, полный сил, как ни в чем не бывало рулил на новом, похожем, еще более мощном автомобиле, обзаведясь специально по его заказу подкрученным мотором, дико взывающим на старте, и носился с такой скоростью, что гравий и щебенка только так разлетались в разные стороны, ударяясь о стволы кипарисов, – до тех пор, пока не заболел, причем настолько серьезно, что я, в какие-то моменты желавший ему, почти всерьез, смерти («чтоб ты сдох!»), в одночасье проникся к нему сочувствием.

От другого соседа я узнал, что «гонщик» жаловался ему на меня: он-де воспринимает как безобразие, если не как угрозу, тишину, которая исходит от моего дома и сада, – наглая, беспардонная тишина, своего рода попытка тишиной.

Минуло уже немало лет со времени того объятия двух соседей перед воротами на гравиевой дорожке с волнистыми следами от граблей – грабельщик как японский храмовый садовник. Но у меня от этого объятия не осталось ничего. Надолго сохранилось нечто другое и не утратило своей значимости по сей день, и так тому положено быть впредь: шуршание граблей (или железной метлы) в невидимом пространстве, и снова шуршание, после объятия, когда я, вернувшись в сад, затворил калитку.

Другое и вместе с тем такое же царапающее шкрябанье граблей или железной метлы вспомнилось мне теперь в связи с этим. Я рассказываю о нем здесь уже не в первый раз, – ну и пусть. Этот звук я слышал не сам и знаю о нем только со слов других, он сохранился как предание, как семейная история. В той истории говорится об одном подростке, почти еще ребенке, младшем из дедовских трех сыновей. Он, ходивший в школу между двумя войнами и отличавшийся особыми успехами в учебе, был отправлен в начале очередного учебного года в далекий интернат, ибо ему предстояло, первому в роду, получить в дальнейшем высшее образование. Несколько недель спустя оставшиеся в деревне родственники, отец, мать, братья, сестры – мне

представлялось, что в первую очередь именно сестры, – среди ночи, задолго до первых пред-рассветных сумерек (так описывалось в истории, рассказанной мне в детстве), были разбужены звуками подметания на дворе, и это был сбежавший из интерната сын и брат, который от тоски по дому, от *domotožje, mal du pays*¹², в ночь, отправился по дороге, на которой тогда, особенно в такое время, почти не было машин, и, проделав путь длиною в сорок километров, столько-то миль, столько-то верст, вернулся в деревню и теперь, непроглядной ночью, – мел двор, в знак того, что его место тут, и нигде больше, безо всякого навязанного «образования», что и определило его дальнейшую участь, включая могилу неизвестного солдата в тундре.

Мне нужно было рассказать об этом в очередной раз в связи с историей о моем подметающем, работающем граблями, сгребавшем гравий соседе, потому что я, у которого эти его шоркающие звуки постоянно стоят в ушах, только сейчас осознал, что все сохранившееся в памяти, вот такие происшествия, которые не просто заслуживают того, чтобы их передавали из уст в уста, из поколения в поколение, но которые, будучи рассказанными и переданными, начинают буквально кричать и звать, не ведают границ между народами, странами и континентами; что подобные, как правило, незначительные мелкие происшествия, случающиеся повсюду на земле, совершенно разные и одновременно – во всем господнем мире? нет, просто в мире, безо всяких господ – совершенно одинаковые.

И вот что еще я осознал при этом: что все подобные, кажущиеся мелкими, но в моих глазах мирового масштаба происшествия, за редким исключением, происходили не у меня на глазах, но были поведаны мне, как история о подметающем брате, если не в младенчестве, вместе с колыбельными, то, во всяком случае, на довольно раннем этапе моей жизни, среди них и запавшая мне в душу, проникновенная история о деревенской дурочке-служанке, которая понесла от хозяина и родила младенца. Ребенок рос, не ведая, что дурочка – его мать. И вот однажды, когда он забрался в живую изгородь и выпутался оттуда только благодаря примчавшейся ему на помощь служанке, он спросил хозяйку дома, свою мнимую мать: «Мама, почему у дурочки такие мягкие руки?» – И эту историю, свидетелем которой я не был, но которая была мне известна с чужих слов, я уже давным-давно пересказал, она же, без каких бы то дополнительных усилий, как будто сама собой превратилась, выйдя за пределы европейских границ, в блюзовую балладу, скажем, где-нибудь в недрах Джорджии или за Енисеем.

Увиденное собственными глазами и вызывающее к тому, чтобы быть рассказанным, остается редким исключением, и еще большей редкостью, пожалуй, продолжает оставаться то, что я пережил на собственной шкуре, узнал из собственного опыта. Но что можно узнать из этой истории, на примере воровки фруктов? Эта история, она ведь вызывает к тому, чтобы быть рассказанной? Ведь такая история еще ни разу не была рассказана? И разве она не соотносится с днем сегодняшним как никакая другая? Или нет? Или все же да? Увидим.

Я потратил некоторое время, и когда я добрался до конца кипарисовой аллеи, машина медсестры уже уехала. Хворый сосед, после проведенной терапии или каких-то других манипуляций, так или иначе обрел силы или почувствовал себя на подъеме, чтобы добраться до крыльца, и теперь он стоял там, держась обеими руками за перила. Один глаз у него был искусственным, но и второй, здоровый, – сидел глубоко в глазной впадине и казался стеклянным, выцветшим, словно подогнанным под искусственный, хотя должно было бы быть наоборот. Удивительно, что он мог еще что-то видеть, и тем не менее он одновременно держал в поле зрения и магистраль, и меня, вышедшего к ней. Он поприветствовал меня, с высоты крыльца, и тем не менее его приветствие прозвучало так, как будто оно раздалось откуда-то снизу, из подвала, из какой-то ямы. Виновником обманного впечатления был его голос. До болезни этот голос был командирским, даже когда он просто говорил и никаких приказов не раздавал, к тому же ему, во всяком случае в его профессиональной жизни, нечем и некем было командовать.

¹² Тоски по дому (*хорват., фр.*).

Он звучал (звучал?) всякий раз жестко, механически, без каких бы то ни было оттенков. Но с болезнью у него появился другой голос, или даже несколько других голосов, много, гораздо более разнообразных и дополнявшихся на каждом следующем этапе развивающейся слабости новым. И вот когда он меня в тот день моего отъезда поприветствовал, у меня возникло чувство, будто такой голос я слышал до сих пор только во сне, особенный голос, подобный тому, который прозвучал в тот единственный раз в самом сердце спящего, проснувшегося от него; и то же самое произошло теперь, среди белого дня, – я словно очнулся от сна, и пробуждение имело форму испуга. Воистину это был голос умирания, слабый, тусклый, тусклее не бывает, и вместе с тем: он был пружинисто живым, этот голос, как глубоко он внедрялся, не причиняя, как в былые здоровые времена, никакой боли, а если причиняя, то боль другого рода.

Одним приветствием, кстати сказать, дело не ограничилось. Потому что больной, отвечая на мой вопрос, как он поживает, добавил, используя форму множественного числа, словно сказанное им относилось и ко мне: «Какое-то время нам еще отпущено, верно?», – при этом одним глазом, казавшимся широко распахнутым, он постоянно держал в поле зрения по-летнему тихую магистраль.

Одновременно с тем у меня произошло наложение двух образов; один из них имел отношения к происходящему, но перекрывался другим, посторонним, опять загадочным. Первый был связан с воспоминанием, как мы, не только мы двое, встретившиеся сегодня, но и многие другие, если не все соседи по улице, давным-давно огораживали тротуары, в первый и в последний раз собравшись все вместе, потому что в тот год здесь должен был пройти маршрут «Тур де Франс», последний участок до финиша на Елисейских Полях. Ну а второй образ, необъяснимо примешавшийся к этому? Другой сосед, один из обитателей нашей тогдашней деревни, известный всем злыдень и стервец, убрал с проезжей дороги заблудившегося ежа, осторожно обхватив пальцами слева и справа мягкое брюшко, не касаясь иголок, с такою заботливостью, которая вступала в противоречие с тем, что в наших глазах, в глазах деревенских ребятишек, отличало этого ненавистного всем зверского дядьку, и посадил его, так же осторожно, на траву коровьего пастбища.

Обычно в течение года такая оживленная магистраль, являвшаяся одновременно дорогой к вокзалу, была настолько пустынной, что я вместо того, чтобы идти по обочине, пошагал прямо посередине – неспешно двинулся вперед. В тот день разгара лета эта дорога в действительности, *bel et bien*¹³, имела вид проселочной, какой она представляла обыкновенно на протяжении не более часа после полуночи и перед рассветом, а также иногда днем, в моем воображении. Эта просторная проселочная дорога, она, поднимаясь за моей спиной немного в гору, устремлялась теперь к цепочкам поросших лесом холмов, казавшихся бесконечными, у подножия которых располагалось старинное, вековой давности, давно уж заброшенное, заросшее дикими зарослями, но все еще остающееся как бы в государственном ведении лесничество с усадьбой. Шагая по разделительной полосе, которая в обоих направлениях, в том числе и в направлении местного вокзала, уводила в неведомые дали, я ощущал, что кажущееся плоским асфальтовое полотно, с отблеском синего неба на нем, дыбится у меня под подошвами, превращаясь в крутизну, которую я одолевал, шаг за шагом, балансируя на разделительной полосе, служившей мне путеводной нитью. Вместе с тем я чувствовал как никогда небывалую твердость в ногах и даже позволил себе потопать, как будто иду по утрамбованной горной тропинке, и добился того, что асфальт – и такое тоже возможно обычно только глубокой ночью – ответил мне гулким звуком. И действительно: пустынная магистраль отзывалась эхом на мои шаги, и этому эху вторило (в моем воображении?) другое, из окрестных лесов.

«Это нелегально!» – вот что мелькнуло у меня в голове. И еще ближе к сути: «Нелегалщик!»

¹³ В действительности (*фр.*).

То, что я отнес себя к разряду нелегалов, случалось со мной, признаться, не в первый раз. Ощущение собственной нелегальности проистекало среди прочего от моего образа жизни, но только среди прочего. Желание быть «незаконным», запрещенным определяет все мое бытие. Почему? Без всяких почему. Скажу только, что в такие дни, как теперешний, когда вот-вот осуществится давно вынашивавшийся тайно – только никому ни слова! – план, чувство, что ты делаешь что-то нелегальное, недозволенное, заметно обострялось. Но нет ли в этом преувеличения, и кажущееся мне запретным в действительности является просто для меня неприличным, недопустимым персонально для меня? Да, это так, для такого человека, как я, это было, во всяком случае, неприлично и недопустимо. Но я не преувеличивал: неподобающее для меня совпадало с запретным и было, в моем случае, одним и тем же. И вот именно это неожиданно изрядно озадачило меня, выдвинувшегося в путь полным решимости действовать против правил, а вовсе не подспудно присутствовавшее представление о том, что от задуманного мной едва ли будет польза и все мои усилия, как сказал брат, любивший простецкие выражения, «пойдут коту под хвост»: ну и пусть идут себе коту под хвост!

Моя нелегальная деятельность, она приведет к тому, что в очередной раз я буду исключен из человечества. Но если до сих пор я, нередко прямо посреди начатого дела, обнаруживал себя, неведомо как, снова включенным в человеческий мир, правда, уже другой, не тот, что прежде, давно знакомый, то теперь, двигаясь по пустынной пригородной дороге, чтобы поехать в глубь страны, я боялся, что буду исключен из него окончательно и бесповоротно. И одновременно это только еще больше укрепило меня в моем желании отправиться в нелегальное путешествие. При мыслях о том, чем занимается большинство легалов, совершенно легально, с утра до ночи, из года в год, век за веком, без передышки, вплоть до нынешнего загнанного, несущегося вскачь времени, я почувствовал, как мною завладевает, нет, вовсе не мое дурацкое, ребяческое, греховное высокомерие, а скорее то, что в прошлом веке называлось высокомыслием (и, может быть, так будет снова называться в каком-нибудь грядущем веке, как знать).

Это высокомыслие послужило мне толчком. Несмотря на то что я немного прихрамывал, причем не только из-за распухшей от пчелиного укуса ноги, моя походка изменилась – теперь я не просто шагал, но вышагивал. Шаги мои стали эпическими. То есть: это были шаги, включенные в общее движение. Я шел не один под небом. Я шел вместе. Вот только с кем? Или с чем? Я шел вместе. Я был таким свободным в своем праве. И не было ли в этом сходства с воровкой фруктов?

Один за другим вдруг поехали автобусы. Я перебрался на обочину и проводил взглядом колонну. Все автобусы были пустыми, они направлялись в находившийся неподалеку Версаль, где их поджидали собравшиеся возле эспланады перед бывшим королевским дворцом туристы, среди которых в последнее время было много из Китая. Вот так, глядя вслед, – глядеть вслед, не важно чему, было с давних пор моим любимым, радующим сердце занятием, – я представил себе, что вместо того, чтобы ехать на север, в такой, по крайней мере на первый взгляд, неприветливый, лишенный примет истории, и вообще бесприметный пикардийский Вексен с его холмами, можно было бы пройти пешком два-три километра на запад до Версаля и снять там для предстоящего номер в гостинице – неподалеку от площади Сен-Луи и площади перед собором, с барами, носившими названия «Espérance»¹⁴ и «Providence»¹⁵. Во всяком случае, из-за одних этих названий меня тянуло теперь отправиться в бывшую королевскую резиденцию. Часто, очень часто, а в последние годы от раза к разу все отчетливее, я во время ходьбы или столь необходимых мне блужданий, бродя по улицам, расположенным в строгом геометрическом порядке – что в других местах вызывает глубокое отвращение – и ведущим почти без исключения ко дворцу (в котором я по сей день ни разу не был), стал замечать, как все это,

¹⁴ «Надежда» (фр.).

¹⁵ «Провидение» (фр.).

вместе с ощущением, будто ты находишься в исчезнувшей с поверхности земли точке мира, развеянной ветром на все четыре стороны света, в каком-то «бывшем» месте, и само пребывание тут на несколько мгновений и потом, по их истечении, делало меня моложе, сила в ногах, свет в глазах – сердце, чего тебе еще надобно? При этом я вовсе не мечтал о том, чтобы вернуть назад короля и королевство, по крайней мере, внешнее; возврат монархии любого рода был для меня просто немыслим. Всякий раз, видя на огромной эспланаде перед довольно изящным дворцом статую, высоко на коне, так называемого Короля-Солнце, с мечом и ошетилившимися лучами шпорами, которыми этот Людовик Четырнадцатый (считал не я) подгоняет коня вперед, к еще одной убийственной войне, и еще одной, и еще одной, навстречу солнцу, я думаю: «Никаких королей! Никогда и ни за что! Чтобы глаза их больше не видели!» Но если закрыть на это глаза, то остается: «Ах, омоложение. Ах, юный мир».

А теперь довольно о молодости, омоложении, примолаживании. Молодой была только та, вокруг которой тут все крутится, воровка фруктами, юная, кровь с молоком. И это несмотря на то, что она для своего возраста успела потерять много крови, причем довольно рано. Я увидел ее перед собой, когда однажды, на ходу, не останавливаясь, протянул руку через забор и сорвал с одного из тех деревьев, что окаймляли здесь улицу, яблоко, даже для Франции, славящейся небывалым разнообразием видов яблок, редкого раннего сорта, снежно-белую скоро-спелку, которая созревает, как подсказывает ее название, уже в июле. Я увидел воровку фруктов перед собой? Да, но без лица, вообще без очертаний, только одно движение: я увидел, как она в отличие от меня, только что сорвавшего яблоко, прежде чем протянуть руку через забор, расслабила в воздухе пальцы. Пальцев я ее тоже не видел, только их танец в пустоте, протягивание, разведение, сгибание, раскрытие, сплетение, – не очертания, а скорее начертание, как нотное письмо. И она, в отличие опять же от меня, не стала бы его есть на ходу, она бы для этого остановилась. Рука, протягивающаяся через забор, не стала бы скрываться, воровато таиться, как тот, кто нечист на руку. В отличие от меня она не стала бы сразу засовывать яблоко куда подальше с глаз долой. В отличие от меня воровка фруктов не ускорила бы шаг после свершенного деяния. А что бы она сделала? Увидим. Лично я, во всяком случае, перешел на другую сторону.

Там я принялся заглядывать в разные лавки, которых становилось все больше по мере приближения к вокзалу. Правда, увидеть ничего было нельзя, либо потому, что магазины и мастерские в первые недели августа почти все как один стояли со спущенными железными ролетами, либо потому, что то или иное заведение с незачехленными витринами вообще закрылось окончательно и бесповоротно и защищать его какими бы то ни было решетками не имело никакого смысла. Эти большие витринные стеклянные панели, сверху донизу покрытые толстым слоем как будто нанесенного сюда песка и заляпанные брызгами грязи от дороги, все целехонькие, ни у одной даже мелкой трещинки, были для меня в особом смысле «смотровыми окнами». Особенно перед одним таким я завел привычку, по дороге на вокзал, перед долгой поездкой, останавливаться и мимоходом заглядывать внутрь. Мастерская исчезнувшего (интересно куда?) больше десяти лет назад армянского сапожника и слесаря-ключника была забита разными устройствами – станок-растяжка с сапожными лапами (или как это называется?), пресс с разложенными на нем набойками (или что-то в этом духе), шлифовальная машина для металлических изделий (?) и т.д., – все это стояло не только в неприкосновенности, но и готовое к работе, сквозь песочную муть забрызганного грязью стекла можно было не то чтобы разглядеть, а скорее угадать детали, явно подходящие к обстановке: на столе со шлифовальной машиной, возле ножек, тянулись цепочкой холмики из железной и латунной стружки, снятой с замочных бородок (или чего-то другого), складываясь в мягкий холмистый ландшафт из мелких металлических частиц, все еще продолжавший поблескивать в глубине покинутой мастерской и без солнечного света. А в нескольких шагах от мастерской, у бара на углу, ролдвери уже

как год были наглухо опущены, хозяин, старик-бербер, вернулся на родину, Иншааллах¹⁶, в Кабилию, но и возле этого заведения я имел обыкновение останавливаться, для чего? – чтобы стукнуть кулаком по металлической завесе, дать два удара, один короткий, другой длинный, и прислушаться к эху в недрах пустого, а может быть, и не совсем пустого, бара. Эхо? Во всяком случае, в моем воображении рисовалось эхо, складывающееся из звона бокалов, которые еще предстояло заполнить, дребезжания холодильника с одной-двумя все еще недопитыми бутылками того, кстати сказать, чудовищного (ну и что), не имевшего названия вина, которое продавалось только в баре бербера; эхо, усиленное имевшимся в стене и тоже уже как год не использовавшимся кошачьим лазом, расположенным на удивление высоко, на уровне плеч, так что многочисленным кошкам овдовевшего хозяина приходилось изгибаться рыбкой, чтобы взлететь на такую высоту.

А еще несколькими шагами дальше, на пороге привокзальной площади, вовлеченный в происходящее, местный дурачок Ничейной бухты. (Тут имелось еще несколько ему подобных, но, по мне, так их могло бы быть и больше.) Уже давно он мне не попадался на глаза, и я думал, что он так или иначе тоже пропал. Как всегда, он кружил по площади, но только теперь он не пел и не наклонялся, чтобы поднять с земли мусор, который скапливался тут, возле вокзала, и убирать который, если этого не делал никто другой, он считал своей обязанностью. Он не узнал меня или не захотел узнавать. Я посмотрел ему вслед. Он постарел с тех пор, как мы виделись в последний раз, когда я угостил его кофе в берберском баре, а он в ответ принялся кричать – при каждом открывании рта он исторгал из себя крик, даже при пении у него получался крик, – какой я, дескать, всегда любезный (что совершенно не соответствовало действительности). Старый, но при этом в шикарной ветровке и новехоньких черных кожаных брюках, какие мог себе позволить разве что старик Джонни Холлидей, да и то лишь для выхода на сцену, когда ему нужно было изобразить из себя рок-звезду. Молча пересек старец-дурачок площадь, – руки, повисшие плетьюми, с очень белыми ладонями, развернутыми назад, болтающимися в воздухе, который он словно вскапывал наподобие крота, огромный череп, опущенный на грудь, полусъехавшие черные кожаные штаны, открывавшие попу, тоже сверкавшую белизной.

На пороге площади? Порог действительно имелся, в прямом смысле, в виде разветвленных корней большого бука, возвышавшегося в конце вокзального подземного перехода. Отдельные корни плавно поднимались из земли, опоясывая ствол, с изгибами разной высоты и с разными макушками, образуя нечто вроде горного рельефа *en miniature*¹⁷, модель горного ландшафта. От этого порога когда-то, более полутора десятков лет тому назад, мать воровки фруктов, перебираясь пружиня с одного корня на другой, словно каждый из них был для нее линией старта, выдвинулась на поиски своего пропавшего без вести ребенка в сторону испанских гор Сьерра-де-Гредос, в то время как теперь, наоборот, ее ребенок прочесывал северо-французское плато к северу от Уазы в поисках следов, или бесследности, своей давно пропавшей матери, хотя, конечно, у воровки фруктов были там и другие дела. И точно так же я, который обыкновенно, как и прочие пешеходы, обходил стороной расплзшиеся по асфальту корни, в тот августовский день использовал их как порог, как линию старта, и пошел по прямой, одолевая подъемы и представляя себе, как я, теперь налево, теперь направо, взбираюсь все выше и выше, от одной вершины к другой, поднимая колени, иногда расставляя ноги, а под конец снова спускаюсь в долину, где я, пересекая площадь в направлении вокзала, на несколько мгновений почувствовал ритм, который сообщился от корней под подошвами всему моему телу. И хотя всякие пожелания с давних пор казались мне скорее лишенными смысла и потому

¹⁶ Арабское выражение в значении «Если Аллах того пожелает», «По воле Аллаха».

¹⁷ В миниатюре (*фр.*).

я отбил у себя эту привычку, все же теперь мне захотелось пожелать, чтобы этот ритм сохранился во мне и дальше.

Мужчина и женщина прошли мимо меня. Они шли друг за дружкой, на расстоянии, и все же я воспринял их как пару, они и были парой. При этом, как я также отметил, они двигались не навстречу мне, а в противоположном направлении, в противоположном не только относительно моего движения, – нет, относительно всего происходящего здесь и сейчас. Вот только что они были частью толпы, окружающей суеты, данного места, только что более или менее беззаботно участвовали в общей игре: вопрос – ответ, предложение – спрос, ход – ответный ход. И вот теперь, одним махом, все кончилось. Вот только что они шагали рядом, бок о бок, или даже держась за руки, под высоким, безоблачно синим, летним небом. Теперь же они плелись еле-еле, мужчина на несколько шагов отстав от женщины, в сторону вокзального подземного перехода, с широко распахнутыми, невероятно большими и у обоих немигающими глазами. Синева неба одинаково отражалась в этих двух, следующих друг за другом парах глаз, имевших не только совершенно одинаковую форму, но и отсвечивавших одинаковой небесной синевой, вот только оба эти зеркала были тусклыми, в прямом смысле безудержно мутными, ибо не удерживали ничего, кроме безудержного горя и крайнего, последнего отчаяния. Судя по тому, как они тащились, женщина впереди, мужчина сзади, ни у нее, ни у него не было шансов куда-нибудь прибиться, не говоря уже о том, чтобы добраться до родного дома. Ни один приют, ни одна ночлежка не примет их как пару: запрещено – нарушение правил внутреннего распорядка и вообще общепринятого порядка. Наверное, они как-то все же устраиваются на ночлег и лежат рядом, бог знает где, но никогда больше, никогда-никогда, *plus jamais*¹⁸, они не будут лежать подле друг друга, вместе, в одной, пусть даже захудалой, постели, – кончился сон о постели для меня и для него, для нее и для меня. Когда еще видел свет такую потерянную пару? И тем не менее они образовывали пару, ни с чем не сравнимую и, быть может, единственную в своем роде, хотя и не обычную, обычно «прекрасную», «фотогеничную». По тому, как женщина, волоча ноги, продвигалась вперед, было ясно: даже без того, чтобы оборачиваться назад, она знает, что мужчина точно так же, без всякой надежды на хеппи-энд, волочит у нее за спиной. – Помочь им?! Невозможно: они даже не воспримут порыв или ошибочно истолкуют его как дополнительную угрозу. Я не существовал для них. Никто на свете не существовал более для этой проклятой пары. Беспомощной, оставленной без помощи. Существовал ли для них кто-нибудь вроде воровки фруктов? Могла ли воровка фруктов отвлечь этот горестный «караван» одним своим видом? Но ведь воровка фруктов, как правило, настолько не бросалась в глаза, что ее можно было и не заметить. Хотя, возможно, именно подобного рода неприметность и могла бы открыть этой паре глаза, заставив посмотреть на все по-новому?

Прежде всего: во время ходьбы смотреть только в землю. По площади, имевшей легкий наклон, потекла вода из шлангов после базарного дня. Лотки уже все собраны, и вода залилась в углубления для стоек. Оттуда среди послеполуденной жары поднималась прохлада, легкий бриз, пронизанный запахом свежести. Следы голубиных лапок, тянувшиеся цепочками в разные стороны из мокроты по сухим местам. Но в тот день мои глаза были обращены скорее к железным люкам, имевшимся во множестве на этой привокзальной и рыночной площади. Год от году здесь, в Ничейной бухте, как и повсюду в мире, их становилось все больше и больше – канализационные люки, люки, скрывающие электропровода, телевизионные кабели, – телефонные сети, газовые коммуникации, компьютерные волоконно-оптические системы, и автоматические затворы, которые выскакивают из земли в случае террористической атаки, и бог знает что еще. Мое особое внимание привлекали теперь железные или стальные люки, а таких тут было большинство, которые были изготовлены методом штамповки, пресовки или отливки в Пикардии, неподалеку от тех мест, куда я как раз направлялся. Во многих

¹⁸ Никогда больше (*фр.*).

европейских странах, на протяжении десятилетий, мне попадались эти выпуклые или вдавленные надписи с названием производителя «Норинко» – что бы это значило? – чаще всего на канализационных люках, и с течением времени эти буквы у меня под ногами, хоть вдавленные, хоть объемные, стали для меня почти насущной необходимостью, если я оказывался в чужих городах, и стоило мне увидеть это слово, я испытывал ненадолго чувство родного крова или просто незатейливой радости.

Казалось, будто марка «Норинко», в сочетании с географическим названием Мерю – этот регион вызывал у меня порой приливы патриотизма, – обладает монополией на все канализационные и прочие люки в государстве, от столицы до заморских владений, от Карибики до папуасов в Тихом океане, и выше, до дальнего севера, до самого анклава Сен-Пьер и Микелон. Вид подобных изделий мог действовать и утомляюще.

К этому добавлялось то, что почти все эти тяжелые толстые крышки с течением времени, а в последнее время за несколько недель, вылезали из своих пазов в асфальте или битуме. И у меня было даже такое ощущение, будто они все чаще уже при установке не закреплялись толком. Результат: стоило пешеходу на них ступить, как у него под ногами тут же все начинало лязгать, греметь, гроыхать, и то же самое повторялось уже на следующем, лежащем вприпрыжку, чугунном круге, и так без передышки, длинной цепочкой, по тротуарам, улицам и площадям, – лязганье, грохотание, гроыхание, повсеместно поддерживаемое другими прохожими, точно так же ступающими на люки, и особенно машинами, и уж совсем особенно грузовиками, нескончаемый, дикий, поднимающийся снизу сокрушительной волной чугунный «норинкоанский» грохот.

Тогда, в день моего отъезда, все это, надо сказать, разворачивалось внутри меня. Я знал наперечет все плохо закрепленные люки и, пересекая площадь, старался обходить их, двигаясь зигзагом как слаломщик. Кроме меня тут никого не было, ни пешеходов, ни машин. В какой-то момент снаружи, во внешнем мире, гроыхнуло, из недр земли раздался удар грома, такой оглушительной силы, что он не только заполнил собой пространство по-августовски тихой площади, но долетел до холмистых, поросших лесами берегов Сены на горизонте. Наряд полиции, дежуривший при входе на вокзал, в ту же секунду, все как один (среди них была одна женщина), со своими автоматами, бросились в мою сторону. Потому что виновником этого грохота был не кто иной, как я, ступивший на люк «Норинко», который еще накануне прочно сидел в гнезде, основательно приваренный и зацементированный.

По случаю базара на площади стояло всего лишь несколько машин, припаркованных в самом дальнем ее конце, причем уже давно. И эти автомобили имели отношение к тем местам, куда я как раз держал путь. Выстроившиеся в ряд машины сдавались напрокат, сплошь маленькие дешевые модели, с беденьким оснащением, снабженные минимумом необходимого. Номера же у них все состояли из цифр, относящихся к департаменту Уаза, куда я и направлялся. Какие цифры? Посмотри в интернете. Важнее другое: я как-то слышал, что большинство французских машин, сдающихся напрокат, зарегистрированы в этом самом департаменте, чтобы он, имевший лишь незначительное количество промышленных и торговых предприятий и сельское хозяйство, которое не сделало ни одного крестьянина мало-мальски богатым, получил бы в порядке компенсации хоть немного доходов от налогов. Не знаю, насколько это соответствовало фактам, но как бы то ни было: эти машины, чистенькие, надранные, сверкали как новенькие или были новенькими и сдавались напрокат. Вот только один вопрос: что они делали тут, в Ничейной бухте? Как попал сюда этот небольшой отряд? Кого или чего дожидались они, притулившись на краю площади? Они стояли там, заманчиво пустые, как на старте, а солнце заглядывало к ним внутрь и тихо увеличивало их внутреннее пространство.

Нет, ты только посмотри! погляди туда! на витрине единственной из трех находившихся на площади булочных, открытых в августе, висел плакат, согласно которому мука, использовавшаяся тут для местной выпечки, поставлялась мельницей небольшого городка Шар, что в

самом центре той территории, где находилась и моя конечная цель, – часть ее относилась к Ильде-Франс, часть, дальше к северу, к Нормандии, и еще одна, восточнее, соответственно, к той самой Пикардии. В королевские времена Вексен, славившийся своими гигантскими полями пшеницы и ржи и сотнями мельниц, назывался «житницей Парижа». Теперь же из всех этих мельниц работала только одна, та самая, в Шаре, на берегу реки, называющейся Вион и занимающей полгородка. Хлеб из тамошней муки был тут же куплен, а в дополнение получен свернутый в трубочку, предназначенный для комнаты в деревне, словно приготовленный специально для меня плакат с мельницей.

Заглянуть бы куда-нибудь еще напоследок перед поездом. Но как же я забыл: «Hôtel des Voyageurs», вместе с баром, уже давным-давно закрылся. А ведь как приятно было сидеть там летом, в прекраснейшей прохладе тенистых платанов, с видом на входящих и выходящих из крошечного здания вокзала, который с трудом можно было разглядеть за листвой. Только несколько бездомных обитали теперь в комнатах с окнами, по большей части заделанными картонками, – прибившиеся к берегам Ничейной бухты, все они, постаревшие, без родственников, по крайней мере без официальных, нуждались в уходе и опеке, ежедневной, ежечасной, но, предоставленные по милости государства сами себе, оказались выворонными в эту полуразвалюху.

Вот и сегодня они в полном составе, точнее, четверо из тех пяти, что были тут еще на прошлой неделе, один накануне умер, сидели на ступеньках бывшего бара, укрывшись в по-прежнему прекрасной тени платанов, и двое из них, те, которые чуть меньше нуждались в опеке, сидели прямо, вертели головами, выполняя или играя роль присматривающих за остальными, обмякшими сотоварищами, сидевшими повесив нос. На похоронах лежавшего еще наверху в своем углу и уже притягивавшего к себе мух будут присутствовать – как это было принято в подобного рода случаях у обитателей бывшего «Hôtel des Voyageurs» – только те немногие, кто сидел теперь на ступеньках. Ни один родственник, брат, сестра, бывшая жена, дети, если таковые имелись, еще ни разу не показывался на здешнем кладбище.

Они сбились в тесную кучку, эти совсем другие беспризорные, почти все местные, часто даже родившиеся в Ничейной бухте и почти никогда отсюда не выезжавшие, разве что на время прохождения военной службы. Разобраться, кому принадлежат все эти разнообразные костыли, было невозможно. И кто был тем единственным, который мог обходиться без костылей? Или тем, кому уже и костыли ни к чему? Тем... Нет, я не могу позволить себе употребить новообразованное слово, к таким оно неприменимо. Они производили впечатление не только людей, лишенных взгляда, но более того – лишенных глаз. Но когда я их поприветствовал, лица засветились, и я уже не в первый раз заметил, что именно самые мрачные физиономии людей, которые изо дня в день не только меня, но вообще никого не удостаивали ни единым взглядом, неожиданно, отвечая на приветствие, прозвучавшее в нужный момент, отзывались такой приветливостью, которая не имеет ничего общего с общепринятой стандартной любезностью (хотя и она годится, в нужный момент!).

Они замахали мне, приглашая присоединиться, и я подсел к ним, устроившись между тем, у которого был совершенно голый череп и шрам, полученный от удара мачете и тянувшийся ото лба к затылку, и другим, слегка отодвинувшимся, чтобы дать мне место, со вставной челюстью, которую он накануне снял с умершего, «не сразу, только сегодня утром», и которую он теперь, как он тут же продемонстрировал, приладил сверху и снизу, на уже немислимо давно голых деснах, при том что протез постоянно, особенно при говорении, елозил туда-сюда, вперед-назад, ничем не закрепленный и без единой надежды когда-нибудь быть закрепленным. Они пустили по кругу сигарету и пили, все четверо, из одной бутылки, а когда очередь дошла и до меня, я тоже приложился и выпил глоток вина, которое было из тех, что не найдешь даже среди самых дешевых в последнем супермаркете, а потом еще один. С тех пор прошло уже некоторое время, но у меня до сих пор стоит во рту вкус не столько вина, сколько сигаретного

дыма, попавшего, без всякого умысла, в бутылку и примешавшегося к напитку. – Звучит так, будто тех двух глотков тебе оказалось мало и хочется повторить. – Уже.

Но есть кое-что еще, что не выходит у меня из головы, занимая мои мысли, хотя и по-другому: когда я смотрел на лица всех этих безродных, нищих Луи-Жанов-Жаков, с которыми я теперь сблизился, то обнаруживал за их такой ничем не прикрытой приветливостью нечто, из чего, по вине кино, телевидения, фотографии, особенно крупных планов, перенесенных на гигантские плакаты, раздутые до форматов тициановских полотен, была изгнана какая бы то ни было реальность. И это «нечто» называлось «голод». Теперь же, мысленно вернувшись к ним, я вижу, что голод просматривался только на одном-единственном лице. Но насколько реальным он был, этот голод, казавшийся по недоразумению уже давно списанным в тираж небытия от растиражированности в разных мирах, от третьего до шестого. Голод был сейчас! – вместо третьего мира, здесь, в первом. Многотысячные толпы, заполонившие в Париже тротуары, с картонками перед собой, на которых поддельным, хотя, может быть, и настоящим почерком написано: «J'ai faim!»¹⁹, – я просто перестал им верить. Немой же голод тут был реальностью. Голод, состояние, страдание, беда? Да, но не только это, с лица другого ко мне рвалось нечто, превосходящее состояние пассивности. Это был голод, особый голод «голод», за которым пульсировало абсолютное, не ведающее границ голодание. Человек испытывал голод, страшный, он нуждался в еде, причем не только с сегодняшнего утра. Он вообще изголодался. (Я не мог бы выразить в разговоре с ним это по-французски, в его языке такой глагол отсутствовал...) И по чему он изголодался? И опять: никаких «по чему». Он голодал, и голодал, и голодал. А можно было бы ему помочь? В тот момент, на мгновение, да. Мгновение, оно живет? Оно живет.

А потом ты завернул в единственный открытый летом бар на площади, чтобы заглушить другим вином вкус сигаретного дыма во рту? – Верно, я завернул туда. Только на бокальчик, «действительно один». Для этого я занял место на террасе, тут (там) называвшейся «Trois Gares»²⁰ (по трем вокзалам ближайшей округи), в тени, совсем не такой прекрасной, вместе с другими летними завсегдатаями. У каждого был свой столик. Македонец рассказал, что заезжал домой, в Охрид. Португальский плотник верил, что с душой после смерти как-то все дальше устраивается. Румынский каменщик в это не верил. Польская медсестра устала после ночного дежурства в доме престарелых. Разнорабочий с Мартиники хотел перед отъездом на родину со всеми нами попить. Шотландец выступал против богатых протестантов в «Глазго Рейнджерс» и за бедных католиков «Селтика». Русская девушка из студенческого общежития читала Льва Шестова по-французски, чтобы лучше выучить язык. Хозяин-алжирец продемонстрировал нам, как долго он может простоять на одной ноге, и объяснил мне произношение слова «терпение» на арабском: *sabr*. Самый пожилой из всех постоянных посетителей, единственный француз, сидел, уткнувшись в какую-то брошюру, когда же я, австриец, спросил его, о чем эта брошюра, он сказал: «О битве на Сомме, ровно сто лет назад, миллион погибших». Отвечая, он заложил страницу пальцем, чтобы не потерять нужное место, которое он мне потом показал и которое, по-английски, начиналось словами «And then...»²¹.

Ни один из давних знакомцев, постоянных посетителей террасы при «Trois Gares», не испытывал потребности узнать хоть что-нибудь обо мне. Меня, конечно, поприветствовали, когда я к ним присоединился, и спросили, как дела, но я не потрудился ответить, зная, что слушать меня все равно никто не будет. Даже мой необычный вещмешок – обыкновенно я показывался тут только с малой поклажей, а то и вовсе без ничего, – не привлек их внимания. А ведь это ко всему прочему был военный вещмешок, наследство закопанного в тундре маминного брата, только свастику теперь заменяла пестрая, затейливая вышивка и дырки от моли

¹⁹ «Я голоден!» (фр.)

²⁰ «Три вокзала» (фр.).

²¹ «И тогда...» (англ.)

были все заштопаны. Прежде чем сесть за стол, я опустил набитый под завязку мешок на пол и нарочито медленно подталкивал его ногой вперед, словно надеясь, что сидевшие на террасе любопытствуют, куда это он собрался, да еще с таким тяжелым багажом. Но компании за соседними столиками было совершенно все равно, куда я там направляюсь и как я вообще поживаю. И тем не менее я определенно чувствовал, что они со мной, а я – с ними, пусть лишь всякий раз в пределах ограниченного времени нашего совместного сидения на террасе. При взгляде на этих посторонних людей, относительно которых и у меня не возникало ни малейшего желания поинтересоваться, откуда они и куда, и уж тем более справляться о том, каково их теперешнее состояние духа, применительно к собравшимся всплыло одно словосочетание, которое прежде, в былые времена, в моей стране, особенно в юности, проведенной там, обозначало нечто скорее отталкивающее меня, вытесняющее меня, и словосочетание это было «наш брат». В данном же случае «наш брат» означало для меня, напротив, сплоченное сообщество, в равной степени свободное и непринужденное. При том, что никто особо не высказывал своего мнения, все же даже в отдельные моменты разногласий или когда один перебивал другого, «наш брат» отличался единомыслием. Эти люди, сошедшиеся тут, хотя и не желали ничего знать друг о друге, были все же достигаемы друг для друга. Я знал, или только рисовал в своем воображении, в очередной раз, ну и пусть, что, если у меня возникнет желание и к тому же момент будет подходящим, я смогу до них до всех достучаться. Соприкоснувшись с тем, что важно не только для меня одного, но важно в принципе, они откроются, причем опять же все вместе, а не только поодиночке.

Эти несколько достигаемых были в Ничейной бухте, если не во всем мире, большим исключением. За долгие десятилетия я пришел к заключению, что подавляющее во всех смыслах большинство двуногих, именуемых традиционно «людьми» и относящихся, соответственно, к желтой, белой, черной и бог знает к какой еще расе, составляют расу недостижимых. Неисчисляемое в процентах большинство, то есть множество, имеющее численное превосходство, является, или было таковым испокон веков, недостижимым ни для кого и ни для чего и уж тем более для меня или такого, как я. Ничто не удивляет их. Ничто не заставляет их встрепнуться. Ничто, абсолютно ничто не отражается в них отсветом или отблеском. Прежде это называлось «способностью чутко улавливать» или «зорко подмечать», но недостижимые, они ничего не улавливают и не подмечают, абсолютно ничего, на этой земле, – они глухи и слепы к тому, что некогда именовалось «матерью-землей», будь то природа или человеческий мир. Обобщенно или «глобально» можно сказать: вся раса моих недостижимых в массе своей никогда ни на что не отзывается. Ничто, даже если бы вернулась та навсегда исчезнувшая сказочная небесно-земная музыка сфер, сходящая к ним с высот и поднимающаяся из недр земли, она не нашла бы у них того пространства, которое откликнулось бы эхом, пусть всего лишь глухим, какое бывает в уборных.

Такого рода недостижимость современников, или как их еще назвать, открылась мне среди прочего тогда, когда я обратил внимание на то, что места, с которыми связана их деятельность, ближайшая среда, окружение, ровным счетом ничего не значат для них, и не по их вине – мои современники, они ведь были не виноваты в собственной недостижимости. Взгляните, к примеру, с террасы «Trois Gares» на площадь с вокзалом, окрестными лавками, банками, конторами: за исключением, быть может, булочника, почти все, кто более или менее трудится здесь, живут в других местах, а не в Ничейной бухте, – совсем в других местах. И я еще ни одного-единственного раза не видел, чтобы эти неизвестно где обитающие банковские служащие, преподаватели автошкол, стрелочники, страховщики, ветеринары, аптекари, блюстители порядка выступали бы здесь или в других местах не только, как это закреплено в специальной формуле для этого, в «своей роли». («У него не было возможности проявить себя, он исполнял свою роль».) Ни одного из этих приехавших или отправленных сюда ради работы в тех или иных заведениях нельзя было увидеть в обеденный перерыв или после службы прогуливающимся

по городу или его окрестностям, не говоря уже о том, чтобы заметить, как он удостоил взгляда ту или иную деталь, – хотя здесь и вправду не было никаких настоящих достопримечательностей, – или же, наоборот, смутил эту местность пристальным вниманием, о чем можно было только мечтать. Они разве что выходили на перекур перед вокзалом, молоденькие кассирши и кассиры, приехавшие откуда-то из-за Сены. А полицейские, причем не только тот специальный наряд, дежуривший здесь сейчас, но и те, которые в спокойные времена патрулировали площадь, на вопрос о том, как найти тут поблизости то-то или то-то, будучи не местными, только пожали бы плечами и, исполняя свою роль недосыгаемых, посмотрели бы сквозь спрашивающего, словно подтверждая любимую шутку румынского каменщика, или португальского плотника, не помню, говорившего, что с полицейскими бывает как с женщинами – когда они тебе нужны, их нет, а когда они не нужны, они так и норовят кинуться на тебя.

Вам, наверное, бросилось в глаза, что я перед «недосыгаемыми» поставил «мои»: «мои недосыгаемые». Свидетельствует ли это о том, что они для меня достойны рассмотрения, что я рассматриваю их как своих людей, даже этих недосыгаемых, именно их? Да, это так. *Ita est*²². В моих глазах мне есть до всех до них дело, до этих миллиардов и миллиардов недосыгаемых двуногих, до каждого в отдельности из них, живущих на земном шаре, включая тех, что живут на самом краю света. Я знаю или думаю, что знаю: никто и ничто не может до них дотянуться, их не касается ни истина, ни красота, не говоря уже о том, что некогда называлось «божественно прекрасным», ни одного из них. Но я, я хочу, и это желание не только сегодняшнее, добраться до них, до всех без разбору, до всей этой тьмы. Или скажем так: я уже давно сгораю от желания добиться того, чтобы они стали достыгаемыми – внимательно вслушивающимися – открытыми – отвечающими (пусть и без слов), и не важно, какие они – двуногие, одноногие, безногие, по мне, так хоть ползающие на четвереньках.

Вместе с тем я также хорошо знаю, что это мое жгучее желание – гораздо больше, чем просто желание, – без покрова танцующих иллюзий, неприкрытая бессмыслица. Я узнал: звери, как правило, и особенно если обращающийся к ним голос им подходит, легко воспринимают его, открываются, вслушиваются, что уже можно считать ответом. Но никогда в жизни так не получится с вами, мои недосыгаемые, вы, именуемые венцом творения. Да, я узнал: не только та или иная птица – в первую очередь та или иная ворона – реагировала на меня, словно наострив уши, но такое случалось по временам и со змеей, и с жабой, и с шершнем. И даже если змея, в ответ, уползая, всего лишь еле заметно замедляла ход, даже если жаба, перед прыжком, на какое-то мгновение замирала, даже если шершень, перестав снова зигзагом, у самых моих глаз скруглял кривую и отвечал мне тем, что давал разглядеть свою особую желтизну, беспрестанно шевеля гудящими крыльями, безо всякой угрозы, а только словно для того, чтобы огрადить от жужжания кусачих ос, причем так убедительно и наглядно, как только могут делать шершни – такие существа, которые, в отличие от ос, умеют сохранять дистанцию и, кроме того, будучи принципиально иными, чем вы, знают, что такое робость.

Давным-давно мне представлялось, что я могу создать нечто, ради чего даже человек, запертый в темном шкафу, связанный по рукам и ногам, с заткнутым ртом, прослышав об этом, откроется. Ну а теперь? Теперь же, здесь, я представляю себе, как вы, полчища недосыгаемых, уже рожденных недосыгаемыми ни для кого и ни для чего и остающихся таковыми на протяжении всей жизни, а в недалеком будущем, быть может, обретя бессмертие, горделиво выставяющих ногу вперед, вы станете достыгаемыми – станете моими достыгаемыми, – только произойдет это в таком вот беспросветном шкафу, где вы будете связаны по рукам и ногам, с заткнутым ртом, в полном одиночестве. И это единственное место, которое может заставить вас однажды встрепенуться и прислушаться; место, из которого однажды донесется ваш ответ, – и ничего, что вместо ваших суперотчетливых, ультразвонких, как из громкоговорителей, зычных голо-

²² Это так (лат.).

сов, от которых нигде не скрыться, это будет жалобное поскуливание. Место, в котором вы наконец выйдете из своей роли, вы, недостижимые. – Высокомерная мысль. Заносчивая! – Нет, высокоумная, снова и снова.

Напоследок, перед отъездом, прежде чем проехать через весь Париж до вокзала Сен-Лазар, а уже оттуда на северо-запад в Пикардию, я заглянул на детскую площадку возле железнодорожной станции, у самых путей, отделенную от них высоким забором. С годами она мне сделалась близкой, не только собственно из-за детей. Кроме того, сейчас, на каникулах, она была почти необитаемой, а в этот час я и вовсе рассчитывал найти ее пустой. Я сел на тенистую скамейку перед качелями и съел сворованное яблоко. Оно было сочным, твердым и одновременно мягким, и вкус у него был как в старые добрые времена. Поезда, как обычно бывает после полудня и тем более в эти два летних месяца, ходили довольно редко, и преобладающим шумом здесь был шум ветра в кронах деревьев. Сдвоенные качели раскачивались легонько, то ли от ветра, то ли от того, что тут совсем недавно качался какой-то ребенок. Конструкция стояла прямо на солнце, и казалось, что тени от качелей скользят по земле быстрее, чем двигаются сами качели. У самых моих ног, из песка, неожиданно выпорхнул орел, который с утра выписывал круги над домом и садом, а теперь был всего лишь маленьким мотыльком с рисунком на крыльях, напоминавшим оперенье орла. Только теперь я увидел за качелями, на другой скамейке, спрятавшейся в еще более густой тени от скрывавших ее отчасти веток кустов, женщину, молодую. Ее лицо показалось мне знакомым, она же улыбалась мне, как будто тоже знала меня. Я ломал себе голову, где же я мог ее видеть, и наконец вспомнил: там сидела на совсем непривычном для нее месте кассирша из супермаркета, что находился на дальней стороне привокзальной площади.

На ней был красный рабочий халат, но зато свои кассирские туфли или тапочки она сняла, как и прилагавшиеся к ним «рабочие носки», которые были брошены теперь на небрежно скинутую обувь. Прическа смуглолицей женщины была такой же, как всегда, и одновременно другой. Все у этой кассирши было другим. Обеденный перерыв еще только заканчивался, но там, среди игры света и тени, сидел уже совсем другой человек, существо, как однажды было сказано в моем присутствии относительно одного ребенка: «Да это же не ребенок! Это настоящее существо!» Вот почему вид этой девушки поверг меня в изумление и вместе с тем явил мне то, с чем я уже неоднократно сталкивался и что мне было хорошо известно, но о чем я как-то все время забывал: сознание того, что да, преобразование возможно в любой момент.

Подобного рода преобразование было прямой противоположностью искажения, поворот к более высокому и открытому, переход одним махом от определенного к неопределяемому. Его невозможно было отозвать обратно. Но оно, в том числе, было и в моей власти. Я был призван к тому; преобразовать – предписывалось заповедью, одной из тех, что шли после десятой, от одиннадцатой до тринадцатой. Речь шла о заповеди, которая как никакая другая (не парадокс ли?) освобождала. Но разве создание свободы, воплощенной в форме всемирного законного царства, не составляет смысл каждой заповеди?

Вид преобразившейся кассирши из супермаркета ответным ходом преобразил и меня, и вместе с этим вернулось воспоминание о немалом количестве точно таких же преобразений, начиная с директора самого крупного банка на привокзальной площади, которого я, еще совсем недавно, встретил посреди леса, на опушке небольшой потаенной, почти заросшей прогалины. Он, в своем начальственном кабинете всегда расфуфыренный и благоухающий на километр «Диором» или еще каким парфюмом, с наманикюренными ногтями, которые как будто ежечасно подправлялись, с уложенными волной напыженными волосами, сидел теперь, весь в поту, растрепанный, среди высокой травы и хлебал суп из жестяной кастрюльки, одной из тех, которые закрывались и держали тепло целый день и которые когда-то (а может быть, в других странах и по сей день?) получали рабочие от своих жен, собиравших их на работу. Рас-

положившийся тут банкир тихо сидел, прислонившись к пеньку, и смотрел, поднося по временам пустую ложку ко рту, на круг перед ним как на какое-нибудь тайное место, в котором, однако, не было ничего плохого или, упаси бог, запрещенного и которое наоборот, именно в силу своей потаенности, было для него в этот час самым подходящим местом на земле. Заметив меня, он воздвигся, приветствуя улыбкой, и протянул мне издалека руку, как это он всегда делал у себя в кабинете, точно так же, но все же совершенно иначе, и сказал с искренним, не наигранным удивлением в голосе то, что у меня вертелось, слово в слово, на языке: «Надо же, вот неожиданность – встретить вас в лесу!»

Непроизвольно я покосился на скамейку с кассиршей, чтобы посмотреть, не стоит ли там у ее ног какая-нибудь посуда. Единственное, что там можно было увидеть в тени, это ее сверкающие голые ступни, которые были намного светлее, чем смуглые ноги, и которые находились в постоянном движении – с пятки на носок и обратно. Девушка ничего не писала на своем мобильном телефоне и ничего не перелистывала. Она не красилась, смотрясь в маленькое зеркальце или во что-нибудь еще, как это часто делают девицы в метро, особенно ранним вечером. Она не откидывала голову назад и не закрывала глаза. Она не демонстрировала ни усталости, ни бодрости. Она не копалась в своей сумочке, открывая и закрывая ее. Она не бросала взглядов сквозь ресницы. Она не подмигивала, не поднимала брови. Она не дотрагивалась до своих губ. Она не натягивала подол халата на колени и не задирала его. Она не изображала неприступность, но и доступность тоже не изображала. Она просто сидела там, шевелила ступнями и тихо была занята собой и прочими мыслями. И хотя она не смотрела на меня, при том, что она не отводила специально взгляда, было ясно, что между нами через какое-то время установилась доверительность, проистекавшая из сопричастности тайне, теперешней и той, что будет разворачиваться в дальнейшем.

Она поднялась со скамейки и пошла обратно, к своей кассе в супермаркете. Покидая площадку, она помахала мне, и я помахал ей в ответ. Обращало на себя внимание то, как она болтала своими длинными руками, двигаясь по прямой, хотя со стороны казалось, будто она петляет. Последний взгляд ей вслед поймал ее на том, что она принялась теребить кушак, снова и снова, вверх-вниз, туда-сюда, еле заметными движениями, словно касаясь его только кончиками пальцев. Это не производило впечатления, будто она тем самым хочет привлечь к себе внимание и показать себя, скорее наоборот, это напоминало действия какого-нибудь волшебника, который пытается сделаться невидимым. Точно такие же магические движения я подметил и у воровки фруктов.

Если до сих пор на всех этапах моего пути я хотя бы несколько шагов проходил, двигаясь задом наперед по аллее, по дороге и особенно при отходе с детской площадки возле железнодорожных путей, то теперь, оказавшись на тротуаре, я шел только прямо по курсу. Это никак не противоречило тому, что я, сев в поезд, чтобы пересечь весь Париж, а потом уже на другом ехать дальше, занял место лицом против движения состава. Я положил себе за правило, если возможно, выбирать такие места во время поездок на общественном транспорте, на автобусах, поездах. Мне думалось, что так я увижу больше из того, что происходит за окнами, или, по крайней мере, много всего разного, по-разному отличающегося друг от друга. И если вы меня спросите, предпочел бы я и в самолете сидеть у окна лицом против движения полета: да.

Поезд тронулся, и только тут я заметил, что почти пустынный перрон пригородной станции весь усеян завядшими, неведь откуда принесенными ветром листьями. При этом еще накануне и перроны, и железнодорожное полотно сверкали чистотой, тщательно выметенные летним ветром; какое наслаждение, пройдя по заасфальтированному участку платформы, ступить на гораздо более протяженную песчаную полосу – вот только что по всему перрону шло обычнейшее топанье, шлепанье, шарканье обуви пассажиров, и вдруг шаги, одни шаги, и даже от цоканья самых острых женских шпилек и особенно изощренного пыточного стука танкеток (или как они там называются) осталось лишь распространившееся до самого дальнего края

платформ равномерное, мирное, непрерывное, словно многоголосное шуршание, как будто все мы, вместо того чтобы отправиться в короткую поездку до Парижа или в еще более короткую, до Версаля, направили свои стопы к вокзалу среди пустыни, готовые поехать оттуда? неведомо куда. Но зато уже через день, так представлялось мне в час отъезда в глубь страны, когда я смотрел в окно тронувшегося поезда, вся эта принесенная ветром листва, лежавшая толстым слоем на песке, уже не будет так многообещающе шуршать под ногами, но будет только оглушительно трещать, а многочисленные ямки в песке, складывавшиеся в целые колонии, растянувшиеся по всей платформе и образовавшиеся благодаря вокзальным воробьям, устраивавшим здесь себе купание в этих песчаных ваннах, в которых еще вчера кишмя кишели мириады воробьиных крыльев и над которыми сегодня везде поднимались клубы пыли и песка под неистовое чириканье и писк, – эти ямки нынче были все забиты предосенней листвой, сбившейся в застывшие кучи, только изредка подрагивавшие на ветру торчавшими черенками.

Вся моя поездка, как и весь мой план в одночасье перестали быть само собой разумеющимися. Ну и прекрасно! А разве до того, прежде, случалось такое, что мои начинания воспринимались мною как само собой разумеющиеся? Никогда. Ни одного единого раза. Ведь недаром, словно в подтверждение этому, поезд, только тронувшись, поехал по туннелю, необычно длинному, если учесть, что до Парижа было рукой подать.

И было еще кое-что, что уловил мой взгляд, обращенный назад, за окном отъезжающего поезда, – нечто, в небе над бухтой, что было не таким, как всегда, причем уже не первый день, и кроме того, то, что там явно отсутствовало, причем уже давно. Во-первых, во всех этих, как всегда многочисленных, пересекающих синее небо в разных направлениях, дружно мигающих огнями самолетах, оставляющих, словно в угоду лету, особенно короткие шлейфы, было что-то необычно мирное, возможно, от того, что они летели на большой высоте, пробуждая в памяти своим видом забытое словосочетание «воздушный корабль». Такая мирная картина вызывала, если подумать о событиях текущей истории, когда и с одной, и с другой стороны объявлена «война», тем больше удивления, что мне тут вспомнилось и отсутствие, причем не только со вчерашнего дня, каких бы то ни было признаков жизни со стороны большого военного аэродрома, у самой границы пригорода, никакого грохота трескучих вертолетов над самыми крышами, никаких неожиданных резких вылетов эскадр истребителей, взмывающих вверх, словно снявшись с макушек деревьев в лесу. Тутотнее воздушное пространство, «наше воздушное пространство», непроизвольно подумал я, было, не считая пассажирских самолетов, паривших где-то в стратосфере, совершенно пустым. Куда подевались все эти военные машины, бомбардировщики, ракетносители? Ясно: их разместили ближе к Парижу, сгруппировав прямо на окраинах подвергающегося угрозе города, взятого в кольцо других военных аэродромов с боевыми и военными самолетами, расположенных впритык друг к другу вокруг столицы. Вот только где? За границей бульваров? Закамуфлированные под зеленые скаты городских автострад? Готовые к вертикальному взлету или как это еще называется? – На этом мои доморощенные стратегические размышления, которым я предавался, пока поезд все еще катил по туннелю в направлении Валь Флери, Цветущей долины (или как-то так), закончились, не успев начаться, ввиду отсутствия необходимых знаний.

Выйдя у Пон-де-л'Альма, в центре Парижа, я пошел по мосту к метро «Альма Марсо», чтобы там сделать пересадку и поехать к вокзалу Сен-Лазар. Как быстро тут в узкой излучине текла Сена, словно перекачивалась через запруду, превратившись в бурный дикий ручей, и неслась с таким громким журчанием, какого, быть может, не услышишь нигде больше в городе. Всякий раз это обращало на себя мое внимание, а в тот день особенно, хотя все продолжалось и недолго, зато с невероятной интенсивностью.

В метро меня со всех сторон стиснула толпа. Как иногда бывало, а бывало это не так уж редко, когда я попадал в метро, особенно в Париже, все лица мне казались красивыми, благородными, начиная ото лба, глаз и кончая ртами; и носы, не важно какие, вызывали чувство

«прекрасного»; только на сей раз мне не пришлось, как порой случалось раньше, устремлять свой взгляд, минуя свой отсек, la game²³, к следующему, тому, что дальше от меня.

Здесь, прямо рядом со мною, все лица при свете вагонных ламп были прекрасными, и мне нравилось, если получалось, вдыхать запах, исходящий от тел, не важно какой.

Перед вокзалом Сен-Лазар, посреди людской круговерти, сидел на пластмассовой табуретке, как и всякий раз, когда я отправлялся оттуда за город, старик, в котором в моих глазах действительно было что-то от Лазаря, хотя и не святого. Не только его растрепанные волосы с несколькими еще светлыми прядками, весь этот человек, целиком, производил впечатление, будто на него только что излился пепельный дождь и теперь он оказался чуть ли не по колено в пепле, скрывающем его голые щиколотки. При этом с его лица не сходила улыбка, никому особо не адресованная и никак не связанная с какими-то его внутренними мыслями. Пять лет назад – тогда я впервые отправился в Пикардию, в Вексен, – он точно так же сидел посреди тротуара, по которому двигалась обтекавшая его многотысячная толпа, с точно такой же висевшей на шее табличкой, на которой, вопреки ожиданиям, было написано не «J'ai faim!», «Я голоден!», а: «J'ai 80 ans, aidez-moi», «Мне 80 лет, помогите мне!». И в первый раз, уже успев отойти от него на большое расстояние, я вернулся обратно, как это часто со мной случалось при встрече с нищими, и дал ему что-то, не чувствуя себя при этом благодетелем из ордена Святого Лазаря, но действуя скорее как человек, который, похоже, нет, не похоже, а в самом деле, вознамерился получить от него взамен какой-нибудь подарок, например, в виде улыбки, предназначавшейся именно мне, нечто вроде благословения в дорогу. Благословение в дорогу не поступило.

Внутри вокзала количество нищих умножилось. И они были другими, не тихими, безмолвными, пассивными нищими, скорее активными горлопанами-попрошайками. У билетного автомата, заноса свои персональные данные (или как это еще называется), я то и дело сбивался из-за того, что ко мне постоянно кто-то обращался из-за спины, и мне пришлось в конце концов шугануть одного из них, попросив дать мне сначала доделать свое дело, от чего тот, только что гундосивший как заведенная машина, по-настоящему испугался как живой человек и буквально отпрянул, отступив на несколько шагов назад и тихо извинившись, от чего мне, в свою очередь, стало жалко его, и я сунул ему какую-то мелочь, несмотря на то что свой поезд я все-таки пропустил. (Следующий, впрочем, шел почти сразу за ним.)

Может быть, мне следовало взять с собой движение отпрянувшего от меня нищего в качестве благословения в дорогу? За то время, пока эта мысль еще вертелась у меня в голове, ко мне успел обратиться уже следующий нищий, а потом еще один. Я ничего им не дал – ведь я только что «подал милостыню», даже «дважды». Вослед мне, слева и справа, понеслось: «Позор на голову твоей матери! Проказа на твои руки! Чтоб тебя расплющило между поездом и перроном! Пусть сдохнут твои дети! Чтоб тебе спать на зыбучих песках! Пусть будет твоим талисманом гнилой зуб! Чтоб тебе жрать одно гнилое яблоко на ужин! Чтоб твой последний путь был покрыт собачьим дерьмом! Чтоб твои останки смыло в сточную яму в клетке какого-нибудь хищника!»

Унося с собой отзвуки этого гомона, я вдруг подумал: а может быть, вот это и было недополученным благословением в дорогу? Я решил: да, и тут же в самом деле почувствовал, как меня понесло вперед, словно какая-то сила приподняла меня над увеличившимся к вечеру людским потоком, и одновременно меня не оставляло ощущение, что я твердо и уверенно держусь на ногах, прокладывая себе тропу среди толпы пассажиров и не отрывая взгляда от вокзального пола, который при всем мельтешении и толкотне казался пустым, свободным от всего и предназначавшимся только для меня и моего пути. Нельзя было не заметить при этом, как по временам все эти быстро и вместе с тем спокойно, по-обыденному, идущие к поездкам

²³ Здесь: купе (фр.).

люди, среди которых даже торопящиеся, спешащие, двигались спокойно, в какой-то момент, словно под действием неведомого толчка начинали куда-то мчаться, и в этом беге было что-то от бегства, почти панического стремления убежать от чего-то, которое, однако, не было продолжительным и вскоре уже, после нескольких стремительных шагов, снова утихомиривалось.

Как же так? Если смотреть на пустой пол среди толчеи, то получалось, что никакой толпы или скопления множества людей нет. Может быть, их никогда тут и не было? И сколько раз я ни поднимал голову, чтобы оказаться приблизительно на одном уровне глаз с другими, это предположение подтверждалось: увидеть и услышать можно было не толпу, но каждого человека в отдельности. Или иначе: я видел и слышал каждого в отдельности. В общем гуле можно было уловить отдельный, единичный вздох, и какой. В глазах другого пассажира, который, пересекая вытянутый вокзальный вестибюль, по-французски «salle des pas perdus», зал потерянных шагов, спешил в группе таких же отъезжающих к поезду, читалась некая боль, особая боль, и к тому же особо сильная, которая побуждала его к тому, чтобы замедлить шаг или вовсе остановиться, что в данный момент совершенно исключалось. Некая боль? Боль. Боль, имя которой «Боль». И она останется, никуда не денется, ее уже невозможно смягчить, ничем и никогда.

Железнодорожные пути вокзала Сен-Лазар разделены на те, что предназначены для пригородных поездов, и те, что предназначены для поездов дальнего следования, идущих в Нормандию, там в первую очередь к морю, на атлантическое побережье к Гавру, Довиллю, Фекану, Дьеппу. Туда, куда я собрался, не ходили ни пригородные поезда, ни поезда дальнего следования. Имелась только боковая ветка, заканчивавшаяся в самой глубинке, далеко-далеко от Парижа и так же далеко от океана. Хотелось ли мне быть среди тех, кто спешил на поезда, отправлявшиеся к морю? Уже давно нет. Садясь в свой поезд, я вспомнил зато сон, который приснился мне прошлой ночью. Мне снилось, что я собираюсь ехать именно на этом поезде и тут выясняется, что требуется посадочный талон, как на самолетах, а я свой посадочный талон забыл, во всяком случае, с собой у меня его не было. Новый выписывать было уже поздно, поезд вот-вот должен был тронуться в путь, – последний поезд, следующий в нужном мне направлении, не только сегодня, но вообще – последний.

Это был действительно (на сегодня) последний поезд в пикардийский Вексен. Туда ходило не так много поездов – сколько? когда-то я это хорошо знал, – а в разгар лета и вовсе раз-два и обчелся, – сколько? – разве ты не принял решение перестать все считать? – и вот этот последний сейчас покидал Париж, среди ясного дня, хотя дело уже шло к вечеру, время летнее, что означало: свет все никак не угасал, как бы этого кому, точнее мне, испытывавшему в том начиная с определенного часа настоящую потребность, ни хотелось. И поезд, выбравшись за пределы столицы и миновав Аржантёй, будет останавливаться на каждой мелкой станции – сколько их? нет ответа, – в большинстве же случаев даже не останавливаться, а слегка притормаживать. Когда я доберусь до цели, ночь еще не наступит, не будет даже сумерек, но свет наконец переменится, и не только из-за сдвинутого вперед времени.

Забитый под завязку поезд собрался тронуться, но так и не сдвинулся с места из-за все новых и новых мчавшихся от вокзального вестибюля пассажиров, которые после работы, или чего-то еще, в Париже, или где-то еще, хотели успеть отхватить себе место, чтобы поехать домой или куда-то еще. Стиснутые еще больше, чем до того в метро, мы все сидели, хотя большинство стояло, где только можно было пристроиться в не рассчитанных на такое столпотворение двухэтажных вагонах, используя в том числе ступеньки лестниц, на которых уместились многие из нас, в том числе и я, и даже маленькие откидные сиденья в тамбуре, на которых тут и там сидело по двое, были все заняты, когда раздался резкий продолжительный свисток, сигнал к отправлению, и поезд в конце концов все же начал движение, сделав перед тем несколько мелких рывков, как будто примеряясь к тому, как он будет тянуть этот непосильный пассажирский груз. В тишине, повисшей после отзвучавшего сигнала, не было слышно ни единого голоса, ни единого звонка мобильного телефона, только, по всей длине состава, многоголос-

ное, общее пыхтение и сопение примчавшихся в последний момент и успевших вскочить в вагон или посаженных нами, находившимися уже внутри и протянувшими руки тем, у кого уже не было сил ни на какие прыжки, тяжелое дыхание в унисон, заглушавшее прорывавшиеся тут и там отдельные сиплые хрипы и свист из недр легких, как из кузнечных мехов, которые вот-вот лопнут.

В нашем поезде, как обычно бывало в летний период, отсутствовали какие бы то ни было бесплатные газеты, неизменно наличествующие в каждом вагоне в другое время. Вот почему я купил себе на вокзале, ради прогноза погоды и прежде всего ради местных новостей, «Parisien», региональную версию для департамента Уаза, и теперь, сидя на ступеньке, погрузился в ее изучение, сложив газету пополам и в таком виде переворачивая страницы, поскольку из-за тесноты держать ее развернутой не было никакой возможности, даже если бы это было малоформатное издание «Parisien». По обыкновению в комментариях к погоде содержались сетования по поводу появления крошечного облачка на горизонте и высказывалась тревога в связи с возможным дождливым днем, поскольку этот летний дождь, который, чего доброго, еще превратится в затяжной, мог нанести урон – нет-нет, не сельскому хозяйству, а горожанам, испортив им отпуск, и почти всякий ветер, включая летний, преподносился как опасность, как нежелательное явление. В колонке рядом мой гороскоп: «Некоторые явления могут в последнюю минуту помешать вашим планам». А это гороскоп воровки фруктов?: «Без вас теперь невозможно обойтись. Не злоупотребляйте своей властью». В разделе местных новостей маленькая девочка, играющая на обочине какой-то деревенской дороги, похищенная крестьянином-одиначкой, жившим на каком-то уединенном хуторе, где она и была обнаружена, целая и невредимая, похититель же признался в суде, что заманил к себе в машину девочку, потому что думал: «Она, вот этот ребенок, не причинит мне зла!» (Приговор: десять лет тюрьмы.) Еще одна местная история из Уазы рассказывала о полицейском, который в свободное от работы время разыскивал точилки со всего света; его коллекция, размещившаяся в полуподвале, насчитывала сейчас несколько десятков тысяч объектов; собирать он начал еще в детстве, от застенчивости. Пролистнув несколько страниц, против собственной воли, как это часто со мною случалось, я добрался до общенациональной и международной части и прочитал там о том, что убийца престарелого священника в церкви под Руаном (Нормандия), перерезав своей жертве горло, смотрел потом «с невыразимой нежностью». Какого-то человека приговорили к смерти где-то в Техасе, где же еще, но за час до казни выяснилось, что он невиновен, и я в очередной раз почувствовал ком в горле от подступивших слез. На той же странице, правда, серийный убийца, который охотился за девственницами исключительно для того, чтобы увидеть в тот момент, когда он будет их душить, страх в их девичьих глазах: ему бы точно такое же растянутое до бесконечности умирание, глаза в глаза с невинной губительницей, с девой-палачом. А на предыдущей странице, смотри-ка ты: Аральское море, уже почти высохшее, снова стало наполняться водой!

Аржантёй, Кормей, Эрбле: все больше людей выходит, и почти никто не заходит; большинство пассажиров проживало в пригородах, до которых можно было добраться и на городском транспорте. Потом Конфлан, Conflanse²⁴, как говорит его название, город в месте слияния Уазы и Сены: еще один пригород? По виду действительно пригород, – только чего? Парижа? Уже не разобрать. И только потом, на северо-западе, Понтуаз, город с мостом через Уазу²⁵, древний королевский город на известково-гипсовых скалах, в соборе которого продолжал – если угодно – деятельно присутствовать Сен-Луи, Людовик Святой, король в шерстяной шапочке вместо короны, самый ребячливый из всех королей на свете: и никаких больше признаков пригорода.

²⁴ Букв.: слияние (*фр.*).

²⁵ Название города Понтуаз (Pontoise) переводится буквально: мост через Уазу (*фр.*).

Вагоны еще не совсем опустели, но многие места освободились, и можно было перебраться куда-нибудь с узкой лестницы, чтобы сидеть отдельно, на расстоянии от других, которых остались единицы. Мы сидели? Мы читали? Мы смотрели в окошко? Мы вздыхали? Никаких больше «мы», не важно какого рода. Никаких «мы» на сегодня. «No milk today, my love has gone away»?²⁶ – Вот только почему я не мог оторвать взгляда от других? Особенно от женщин и особенно от молодых?

В вагонах, которые без перегородок плавно переходили один в другой, от первого, следующего сразу за локомотивом, там, где сидел я, против хода поезда, до самого последнего со стеклянной дверью, открывавшей вид на убегающие рельсы, стало заметно светлее; посветлело уже за Понтуазом, но еще более отчетливо после Они и Буасси-л'Айери, когда пошел все менее населенный, с попадавшимися тут и там, как на остаточной площади, обихожеными островками, но все более и более заросший ландшафт, – дорога шла вверх по долине реки Вион; посветлело от все увеличивающихся с каждой остановкой пустот в поезде, которые напомнили мне белые пятна на – только старинных? – географических картах; посветлело от платьев и еще больше от неприкрытой кожи всех этих молодых, сидевших порознь, в одном-двух вагонах, в одиночестве, молодых женщин; казалось, будто они остались тут во всем поезде, от головы до хвоста, единственными пассажирами, не считая случайно затесавшегося пожилого, если не сказать старого, мужчины, то есть меня.

Мой взгляд, переходивший от женщины к женщине, через все вагоны короткого поезда, был ищущим. Я испытывал настоящую потребность, жгучее желание открыть в них – что? Ничего, просто открыть. Но у меня не получалось, никак, ни с одной из молодых женщин. Там нечего было открывать, по крайней мере, для меня. Закрытые особы могли обычно вызвать у меня порядочное (или непорядочное) отвращение. Открытое лицо красивой, равно как и не такой красивой женщины, так мне казалось, так я чувствовал, знал, было как ничто другое на земле словно создано для того, чтобы возвысить меня и мое сердце. Да возвысится сердце мое, да возвысится наши сердца! Чтобы прочувствовать это, мне нужно было слушать чужие рассказы о радостях рая и райском наслаждении, какое дает запах мускуса, женская красота и ясность глаз во время молитвы. Ни разу в жизни женское лицо без покрывала не пробуждало во мне ничего похожего на влечение, не говоря уже о так называемой похоти. Скорее я сам пробуждался время от времени при виде такого открыто и тихо являющего себя лица, но подобные моменты всякий раз были отмечены святостью, и лик сей пробуждал меня – во мне. Пропадите вы пропадом, бога ради, все закрытые и зачехленные!

Глядя на молодых женщин в поезде, я хотел их лиц, по крайней мере, некоторых, скрытых покрывалами, плотными, темными и делающими их невидимыми. Сквозь закрытость – в зависимости от покрывала – можно было хоть что-то разглядеть, и это что-то было больше того, что можно было разглядеть при ясной видимости, оно открывалось с другою ясностью. Эти же женщины, их лица, и не только они, открыто выставлявшие свою неприкрытость на обозрение, казались мне, словно одержимому теперь желанием обнаружить хотя бы мельчайшие признаки узнаваемого – говорящего – подвижно-живого, все они, без исключения («Исключение, мелкое, покажись!»), казались мне замаскированными. В молодости я как-то раз увидел в карнавальной процессии человека без маски и подумал: «Гордо шагает лишь тот, кто без маски!», и еще: «Не желаю больше видеть маски!»

А теперь: куда ни посмотришь, одни сплошные маски, скрывающие лица, одни сплошные замаскированные тела. Ни один глаз ничем, никаким образом себя не обнаруживает. Никакой жизни в линии корней волос, хотя попутный ветер изредка подхватывал выбившуюся прядку. Ни одной-единственной веснушки, которая при ближайшем рассмотрении могла бы

²⁶ «Сегодня никакого молока, моя любовь ушла» (англ.) – строчка из песни Грэма Гоулдмана (Graham Gouldman, род. 1946), исполненной впервые в 1963 г. британской рок-группой «Herman's Hermits».

распасться на две. Ни одна ключица ничего не говорила о целом. Ни одной полуобнаженной груди, ни одного открытого пупка, ни одного накрашенного ногтя, от которых чем-нибудь веяло, что-нибудь исходило, перебрасывалось на окружающее. Перебрасывалось на меня и мою особу? Перебрасывалось на пространство, вмешивалось в происходящее. Разве не случилось порою, именно в присутствии незнакомых, не важно, мужчин или женщин, что на какое-то мгновение чужая история, его или ее, воплощалась в языке и в образах, в образах и в языке, в языковом образе, в одном-единственном языковом образе, который, хотя и не соответствовал жизненным фактам, символизировал собою большую жизнь? Но замаскированные женские лица и такие же замаскированные женские тела ровным счетом ничего не говорили. И ничто не переходило в образ, пусть даже в обрывочный. Они не давали сложиться никакому представлению, не допуская ни воображения, ни уж тем более фантазии, в отношении того, что, дай ты боже, под маской составляло жизнь, было жизнью, могло бы быть жизнью.

Я почувствовал приступ своего рода ярости, готовый обрушиться с руганью на это бабье, потому что они были совершенно не тем, чем должны были бы быть в моих глазах. Промолчав, я все же налился злобой, которая, похоже, читалась в моем взгляде. Во всяком случае, девушка, сидевшая ближе всего ко мне, резко отвернулась, словно отшатнулась от меня, хотя нас разделили два ряда сидений. И снова я был близок к тому, чтобы открыть рот и прокричать ей прямо в лицо все, что я думал: «Не воображай, что мне от тебя что-то нужно. Ни один мужчина, никто уже ни о чем не мечтает, глядя на ваши маски. А если мечтает, то: горе тем бедолагам, которые угодили в ваши сети, вы, мнимые властительницы. Вы, масочницы, вышедшие на тропу войны, не дрогнув, разделаетесь с ними. Вы на ложном пути – у вас нет никакого пути. Но ты заметила меня, и на том спасибо».

Прочь от нее и ее соратниц-воительниц, прочь от этого бабского царства на втором этаже. Нижний этаж вагона был пуст. На второй взгляд, однако, – хотя нет, несколькими взглядами позже, – я увидел, что тут все же кто-то сидит. Или это был просто узел с одеждой, забытый, специально оставленный, брошенный? То, что, словно свалившись, разместилось полусидя-полулежа на одном из запасных откидных сидений вместо того, чтобы расположиться на одном из обычных, явно было живым – живое существо, человек. Этот тюк, он выпрямлялся, оседал, и так все время, в равномерном ритме. Человек, разлегшийся на узеньком откидном сиденье, спал сладчайшим сном. Выбившаяся прядка волос закрывала глаза, и вдруг, от одного особо сильного выдоха, она отлетела в сторону и явила лицо спящего целиком и полностью.

Ужас: нежданно-негаданно передо мной оказалась моя воровка фруктов. Ужас происходил от двух причин: во-первых, от того, что она была тут, настоящая, живая, моя воровка фруктов, а во-вторых, от того, что это ни при каких обстоятельствах не могла быть она. Я знал, что она находится где-то тут, недалеко, в тех же краях, но она не могла быть той спящей, на которую я теперь смотрел, как невозможно было себе представить, что я встретился с ней теперь, очутившись в одном поезде.

Трудно поверить, но поверьте: это был сладкий ужас. И то, что я при виде юной спящей попятился назад, произошло не от испуга, но от радости, это был радостный ужас. И мне было радостно, вот так отступая, смотреть на нее и на то, что было вокруг нее, расходившееся кругами.

Описания лиц, таких-то и таких, с давних пор мне были противны, противны все эти вымученные навязанные образы вместо тех, которые должны складываться сами собой. Так, сейчас было важно только то, что на висках у девушки проступала такая же плавная вена, как и у воровки фруктов, – причем, быть может, только теперь, во время глубокого сна, и что она казалась такой же (как было уже сказано) молодой и полной сил, кровь с молоком, – и точно так же, вероятно, все это (какое преображение!) изменится, едва она откроет глаза, – вот только видимость молодости никуда не денется.

Примечательнее было другое, или по-своему примечательно было другое: как это запасное откидное сиденье, на котором спала девушка, было превращено ею, всем ее телом, от поникшей головы до вытянутых ног, в ее сугубо личное место. Казалось, что это не она к нему прильнула, а оно к ней, и все пространство вокруг сделалось ее собственностью, пол вагона был словно специально переделан для того, чтобы здесь разместился ее, кстати говоря, внушительных размеров багаж, плотно сбитый и, как мне показалось, по-зимнему темный, как и ее одежда, словно она собралась в одиночку совершить восхождение на какую-нибудь снежную вершину, и это в почти равнинной, без единой горной вершины Пикардии, куда она как раз держала путь. Примечательно было и то, что ее ноги, которые она раскинула в глубоком сне, ни о чем не говорили и были просто ногами, раскинутыми в глубоком сне простым смертным.

Сладкий ужас в процессе созерцания превратился в удивление. Я только сейчас обратил внимание на то, что спальное место девушки находилось ровно под лестницей, ведущей на второй этаж. Удивился я потому, что это вызвало у меня одно вполне определенное воспоминание: мать воровки фруктов искала свою пропавшую дочь далеко-далеко от дома, точнее, в испанских горах Сьерра-де-Гредос, а в конце концов выяснилось, что ребенок – она действительно была тогда почти еще ребенком – все это время находился по соседству, даже на том же участке, переодевшись в мальчика, в бывшей сторожке привратника, и мне это напомнило тогда, в свою очередь, еще одну, старинную историю или даже легенду: легенду об Алексии, который много лет нищенствовал в чужих краях и вернулся в отчий дом не узнаваемый родными, давшими ему место в каморке под лестницей, где он жил как безымянный странник и только в час своей смерти открыл свое сыновство.

Не так ли звали и ту девочку, или не так ли назвала ее мать, в тот миг, когда она нашлась и произошло воспетое Полом Саймоном «mother-and-child-reunion»²⁷, а мать воскликнула: «Алексия!», – хотя ее настоящее имя могло быть совершенно другим. Ах, как много разных карт, подробнейших, какими бывают только военные карты, разложено вокруг спящей в поезде. Сон наяву, мой, по ходу созерцания: «Все эти карты нужны ей, чтобы найти мать...» И потом: «Но зачем тебе понадобились еще и геологические карты, со всеми пластами отложенных каменных пород Пикардии, прорисованными слой за слоем, до самых глубин, сформировавшихся десять, пятьдесят, сто миллионов лет тому назад?»

Вид спящей со всеми ее пожитками начал утомлять. Я удалился в другой вагон, самый дальний, в конце поезда. Краем глаза я видел потом, как девушка вышла в Шаре, у тамошних мельниц, – почти Вексен, но формально еще регион Иль-де-Франс, на границе с Пикардией. Я не стал смотреть ей вслед. Мне хватало пока того, что я уже видел.

При выходе из вокзала в Шаре, последней станции на территории Иль-де-Франс перед Пикардией, прибывших поджидали явившиеся как по заказу – кем заказанные? точно не мной – неизменные контролеры. От Шара начиналась новая тарифная зона, и отсюда требовались уже другие билеты, тот же, кто пытался с первым билетом проехать дальше, пусть даже всего лишь на короткое расстояние, считался, как извещали расклеенные по всем вагонам предостерегающие или скорее угрожающие плакаты, «мошенником», которому грозил высокий штраф или, того больше, тюрьма.

Уже в самом Шаре немногочисленные пассажиры, вышедшие здесь, в том числе и девушка-двойник воровки фруктов, были подвергнуты контролю. Я отвернулся, не желая видеть, как их проверяют, словно что-то во мне противилось тому, чтобы быть свидетелем унижения, которому будет подвергнут со стороны служащих в форме тот, у кого вообще нет билета; вид этой группы из шести, цифрами: 6, человек, перекрывших выход, все как один в так называемых служебных фуражках, которые они, все шесть, одновременно водрузили себе до того на головы, был достаточным поводом не смотреть туда, отвернуться, обратить взор

²⁷ Воссоединение матери и ребенка (англ.).

совсем в другую сторону, – прочь, прочь от них, и точно так же поступили, как я заметил по отведенным взглядам, и некоторые девушки, оставшиеся в поезде, что создавало некоторую общность между нами. Мне стало стыдно за свои прежние мысли о них. Раскаявшись, я снова внутренне обратился мыслью к женщинам, ко всем, вместе взятым.

Когда поезд тронулся, оказалось, что отряд контролеров едет вместе с нами. Сначала они стояли, сбившись в кучку при входе в вагон и пока только выставив себя на обозрение; какое-то время они ничего особенного не делали, только орали во всю глотку, разговаривая друг с другом, так громко, как не позволил бы себе ни один самый громкий пассажир ни в одном поезде на свете, и при этом то и дело раздражались оглушительным смехом, женщины – в должном количестве, как того требовала справедливость, – с особым визгом, заходясь в общем гоготе, который у всех звучал натужно, словно этим своим смехом они хотели только подогреть друг друга.

Потом, как по команде, они умолкли и выдвинулись в глубь вагона, распределившись так, что каждый оказывался под прикрытием работающего рядом товарища или соратницы; ведь всякое может случиться – именно на этом участке дороги пять лет назад одного контролера отхлестали по лицу, а другому, лет десять назад, поставили подножку. В противоположность тому реву и взрывам хохота, которые только что неслись из тамбура, голоса контролеров, испрашивавших у пассажиров разрешения взглянуть на их билеты и паспорта, звучали теперь как воплощение совершенной вежливости. А как они, возвращая с такой же совершенной грациозностью документы, которые они держали кончиками пальцев, как какую-нибудь драгоценность, тщательно проверенную ими на подлинность, благодарили каждого из контролируемых в отдельности и желали вдобавок хорошей поездки, прекрасного вечера, спокойнейшей ночи, голосами, исполненными (у мужчин) чувством чистейшего братства, в сочетании с ищущими взглядами (у женщин), устремленными с высоты, но только, упаси боже, не сверху вниз, к нам, сидящим у их ног, – ни один кондуктор, всегда являвшийся в одиночестве, не представлял перед такими, как мы, в подобном совершенном виде, – к тому же кондукторов давно уже нет – по крайней мере, в таких поездах, как наш теперешний, – и еще одно к тому же: разве во Франции имелись когда-нибудь «кондукторы», вместо которых (с самого начала?) действовали «предписанные» французским государственным языком «contrôleurs»²⁸?

И под конец событие: у всех у нас, оставшихся в вагоне, оставшихся в поезде, оказались правильные билеты. Никто из нас не был разоблачен как мошенник. Никого из нас не попросили сойти с поезда на ближайшей остановке, в Лавильтертре, первой станции в Пикардии. Мы были свободными людьми и все равны. Не хватало только, чтобы эти шесть контролеров в дополнение к тому, как они, уже на выходе, дружно попрощались с нами, еще и поздравили бы нас и похвалили.

И тут из наших поредевших рядов раздался голос. Голос принадлежал одной из девушек, причем той, которую я до того воспринял как глубоко мне враждебную, если не сказать как заклятого врага, сейчас я уже не мог вспомнить почему – из-за коротких волос? из-за каких-то непомерно больших, постоянно раздувающихся ноздрей? из-за каких-то особо жилистых, словно презрительно насмехавшихся надо мной, впадин под коленями? из-за глаз, которые, при взгляде на меня, тут же отводились, скользя мимо, и одновременно с тем вскидывался торчащий, как у ведьмы, подбородок, говоривший: «Чего тебе надо? Вали отсюда! Чтоб я тебе не видела!»

Голос был слабым, или скажем так: он был бормочущим, обращенным к себе. Контролеры остановились. Но они его не услышали. Или скажем так: они не поняли его. Я же, напротив, понял его. Девушка, сидевшая сзади, в конце вагона, изрекла следующее: «Несколько месяцев кряду вы опять бастовали, “социальное движение”, так это у вас назы-

²⁸ Контролеры (фр.).

вается, “*mouvement social*”, и не показывались на глаза. На несколько месяцев кряду это ваше социальное движение парализовало всю страну и заставило нас, остальных, мучиться. Не успели закончить забастовку – никто не знает почему, как никто не знает, почему вы ее начали, – и уже, пожалуйста, тут как тут, и первым делом начинают контролировать меня, контролировать нас, чертовы контролеры, ни на что больше не пригодные, кроме того, чтобы исполнять свою функцию. Все ваши социальные движения, по вашим же собственным словам, так писали вчерашние газеты, и завтрашние напишут еще, происходят от одного: вы не желаете, было написано там, и будет написано впредь, подниматься с постели в четыре утра, чтобы потом выслушивать от пассажиров оскорбления. А когда поднимаемся мы, пассажиры? И что у нас при этом поставлено на карту? Часто все. А у вас, функционеров? Ничего, ровным счетом ничего. Надо было бы еще сильнее вас оскорбить, да не так, как это делали несколько зануд, а всем вместе, рывкнуть на вас, злобных карликов, потому что вы что ни на есть настоящие карлики, рывкнуть так, чтобы духу вашего здесь больше не было. Объявить кулачную диктатуру рукоприкладства вместо вашей приторно-сладкой чистоперчаточной. Раньше были киллеры, убивавшие королей во имя прав человека, теперь – истребители, разрушающие страну во имя социальных движений». А потом, когда шестеро контролеров вышли в чистом поле и тут же исчезли, словно призраки, растворившиеся в пространстве, девушка добавила: «Гундосливые мудаки и визгливые суки, гундосливые суки и визгливые мудаки» (*trou-de-culs sonores et connes aigues, connes sonores et trou-de-culs aigus*). И ведь что интересно: когда бы и где бы они ни вышли из поезда, их всегда и везде поджидает служебная машина. А если я даю им понять, что такие типы мне глубоко омерзительны, то слышу в ответ: “Ты не любишь людей!” При этом как я любила людей, с детских лет, и в какие-то моменты люблю их по сей день. Но из-за вас, из-за вашего террора, специального, государственного, я вот-вот потеряю веру в людей, во все человечество. И готова уже не только подумать, но и громко выкрикнуть: “И несколько не жалко людей! Пусть мы все сгинем!”» Последние слова она сказала так громко, что слышал весь поезд, даже машинист в кабине.

Отчего наш поезд, избавившись от оккупационной власти, не двигается дальше? Позади уже деревни Монжеру, где южанин Сезанн писал свои самые северные пейзажи, и Юс, получившая якобы свое название взамен старого после последней мировой войны в знак благодарности за освобождение американо-английскими войсками, хотя в действительности это древнее название с тысячелетней историей, – но впереди никаких признаков следующей станции или хотя бы какой-нибудь деревни. Опять забастовка? Или террористическая угроза? Едва ли. Слишком мало народу в поезде для порядочной, подходящей для крупных заголовков в газетах массовой бойни, и к тому же среди голых полей, далеко от столицы.

Но как знать? Страх поселился во всех нас. И этот страх выражался в повышенной чувствительности к звукам, причем ни у кого-нибудь в отдельности. Обычно абсолютно ничем не связанные друг с другом, мы, живущие в одном времени, вдруг оказались объединенными некоей общностью. Я никогда не думал, что звуки, относящиеся к моей так называемой деятельности, могут кому-нибудь мешать. Случалось, иногда, я просто представлял себе в шутку, что вот сейчас, когда я затачиваю карандаш, надраиваю ботинки, чищу яблоко у открытого окна, раздастся из-за изгороди или откуда-то еще соседский или чей-то еще голос: «Тихо!», наверное, от страха, что у меня в очередной раз вывалится что-нибудь из рук и я напугаю того или другого, вот ведь и в метро люди всегда вздрагивают, если кто-то резко открывает двери отходящего поезда и впрыгивает в вагон или если этот кто-то всего лишь громче открывает рот, чем другие.

То же самое было, когда поезд на перегоне стал тормозить, потом остановился, под аккомпанемент страшного грохота, который перешел в нарастающее гроыхание: к чему нам готовиться? При этом всего-навсего упал велосипед, поставленный между вагонами. Но в момент удара и последовавших за ним отзвуков все те, о которых я думал, что для них никого

вокруг не существует, стали лихорадочно ловить взгляды попутчиков, в том числе и мой, так что все наши взгляды встретились. Вот такое прибавление к истории воровки фруктов, вероятно, не последнее, – как следует прибавить и то, что тогда, в метро, во всяком случае, в первый момент ужаса, я незаметно попытался приладиться к лежавшему у меня в кармане брюк сарацинскому кинжалу, надо сказать, короткому, в кожаном чехле, с тем, чтобы потренироваться и в случае необходимости иметь возможность нанести удар, – и тут требуется еще одно прибавление: эти тайные упражнения ничего не дали, потому что пальцы мои все время путались и я не смог бы вытащить кинжал в нужную минуту или он застрял бы у меня в чехле на полдороге.

Никакой забастовки и уж тем более никакого теракта. Контролеры исчезли, и машинисту захотелось выйти из поезда, чтобы размять ноги или для чего еще? Как только мы пересекли границу Пикардии, все объявления закончились, а если что-то и передавалось, то это были какие-то непонятные обрывки. Дорога на этом участке пути была однопутной, но встречных поездов уже не ожидалось, наш поезд был на сегодня последним. Не в первый раз я уже наблюдал, что на этом отрезке, недалеко от конечной станции, особенно в разгар лета, машинисты переставали торопиться. Лично меня это вполне устраивало, и других немногочисленных пассажиров, судя по всему, тоже. И каждый из нас замечал теперь других, избавившись от пугливой опасливости, владевшей нами в начале поездки. Какими пугливыми стали мы, презренные твари! Знает ли человеческая история другую такую человеческую пугливость, как наша сегодняшняя?

Мне показалось или это только так выглядело со стороны, будто машинист, стоя среди высокой травы возле самого локомотива, справлял нужду? Нет, не показалось. А рядом с ним, почти вплотную, стоял какой-то пассажир, низкорослый, почти ребенок, и делал то же самое. Значит, получается, что я тут не единственный пассажир мужского пола? Или мальчишка сидел в кабине машиниста? Может быть, это его сын?

Оба они все еще стояли возле путей и беседовали. Женщины в поезде как одна закрыли глаза. Две из них, сидевшие с самого начала рядом, притиснутые друг к другу незнакомки, так и остались сидеть парой даже тогда, когда поезд почти опустел, то ли от усталости, то ли по какой другой причине, занятые на протяжении всего времени пути каждая своим или ничем не занятые, просто смотревшие в разные стороны, теперь же не просто закрыли глаза, но по-настоящему заснули, симметрично склонив головы, так что одна подпирала другую, придвинувшись вплотную. Вот так и спали они, голова к голове, эти двое, ничего не зная о прильнувшей соседке, ни какая она, ни как ее зовут, ни что она делает, как не зная и о том, что они заснули, голова к голове, и теперь крепко спят, голова к голове, крепче не бывает. Если бы это зарисовать, то все линии четырех сомкнутых век и четырех уголков рта под ними проходили бы параллельно, четыре одинаковые мягкие ниспадающие дуги. Воровка фруктов, зарисовывай всех спящих, встречающихся на твоём пути!

Поразительно, а может быть, и нет: как все женщины в вагоне, проснувшись одновременно, принялись наводить красоту, подкрашивать, глядясь в маленькое зеркальце, губы, делая их более или менее красными, подправлять брови. Наводить красоту для чего? Тем более во время поездки не к морю, а в самую глубокую глубинку? Или как раз для глубинки хотелось навести красоту?

Я вышел из поезда и присоединился к отцу с сыном среди высокой травы возле путей. Остановка поезда на перегоне объяснялась не просто прихотью машиниста. Причина была в аварии: отключилось электричество, но машиниста это не огорчило, а скорее порадовало, смотри выше. Скоро дадут. После чего отец с сыном продолжили свой разговор, и говорили они о том, что радуются предстоящему ужину, то ли в Три-Шато, то ли в Шомоне, сейчас уже не помню, с мамой и женой, в ресторане, и они уже заранее знали, что закажут, сын, кажется, нацелился на пиццу «Маргарита», а отец? Тоже не помню.

Там, где остановился наш поезд, пути уже не шли по долине реки Вион. Ее исток остался где-то позади, и теперь мы находились на возвышенности Вексена, довольно скромной по своей высоте, в пикардийской ее части (имелась еще норманнская и та, что относилась к Иль-де-Франс). Здесь, перед самым Лавильтертром (где-то на уровне «Деревни на валуне»), взгляд больше не путался, застревая среди бурелома в ложбинах, но мог свободно скользить, в любом направлении, до самого горизонта, уходя в уже невообразимую даль. Дул легкий, ровный ветер, словно не относящийся ни к какому времени года, с северо-запада, с той стороны, где при необходимости – лично я не испытывал ни малейшей потребности – за сотни километров отсюда можно было представить себе море, а там Дьепп, бухту Соммы и так далее. Раскидистость просторов проступала так ясно из-за сжатых полей, на которых осталась только кукуруза и которые обнимали большим кругом покато плато, а также из-за полного отсутствия каких бы то ни было поселений или хотя бы отдельных построек, вроде какого-нибудь деревянного сарая, – видна была только одна телевизионная башня или водонапорная? – на еле заметной гряде холмов на среднем плане, именовавшейся «Ля Мольер». А вот что вполне соответствовало времени года, разгару лета, в этот час перед заходом солнца, с его светом, окрасившим все вокруг желтизной, так это растянувшиеся наподобие дюн группы облаков и всеобъемлющая синева неба за ними, на первый взгляд такая нежная и такая родная, но при ближайшем рассмотрении кажущаяся все более чужой, хотя и навевающей какие-то воспоминания, однако никакое воспоминание не всплывало, оставив человека, меня, нас, на произвол судьбы, как поступало и это синее небо, все более явно оставлявшее человека на произвол судьбы, сея тревогу, гораздо более пугающую, чем любая угроза.

Тем надежнее, если не сказать гораздо роднее, казалась земля внизу, стоило опустить взгляд, оторвавшись от неба, готового, чего доброго, прибавить приветливого радушия. Это была, по крайней мере, там, где остановился на перегоне поезд, местность без каких бы то ни было цветов, раскрывшихся или только-только распускающихся, только с вездесущей белизной выюнков, преобладавших тут и расползавшихся от травы до самых верхушек деревьев. Только теперь, в это время суток, чашечки выюнков – какой полуденный блеск разливался – изнутри! – давно уже закрылись, свернулись, как «самокрутки, плохо набитые табаком» (сказал бы румынский каменщик), или болтались среди кустов, похожие на «использованные женские тампоны» (португальский плотник?). Но даже без цветков и бутонов эта земля, представленная силуэтами веток орешника и бузины и расходящихся веером стрельчатых листьев ясеня и белой акации у железнодорожного полотна, сверкавших черными прорезями в самом низу, далеко от неба, она протягивала – в подарок! – мне, ему, нам свои букеты в знак совершенно иного приветствия.

Откуда взялось вдруг ощущение такой принятости в круг земли? Такого перехода к ней и погружения в нее? Такой особой репатрированности? – Слушайте: в ясном предвечернем свете вдалеке, но как будто совсем близко, я увидел воровку фруктов, идущую по Вексенскому плато. Не было никакой нужды, но я все же посмотрел в бинокль, который повесил себе на шею перед выходом из дома (еще одно прибавление); кому интересно, могу сообщить и производителя – пока же только марку: «LEGEND».

Казавшаяся на расстоянии тоненькой фигуркой, глядя на которую даже невооруженным глазом можно было угадать, что это женщина, да какая, она, наверное, воображала, что и впредь, как во все предшествующие годы, останется невидимой или, по крайней мере, незаметной. Но с этим было теперь покончено, во всяком случае, начиная с данного момента и на ближайшее время. Когда я обернулся к стоящему поезду, стало ясно, что не я один смотрю подобным образом на это явление: все женщины, как одна, раскрыли глаза и следили взглядом за незнакомкой, как она идет по сжатым полям, – одна с завистью, другая с ненавистью, третья словно сняв колдовскую маску и превратившись в уродину.

Воровка фруктов, как видно, тяжело нагруженная, бодро продвигалась вперед, иногда семена, иногда прыжками, то на одной ноге, то на двух, будто перед ней были начерчены «классики», и делала она это не из-за неровностей сжатого поля, где-то бугристого, где-то неудобного, где-то ровного, а потому, что ей, только что выехавшей из города, да и вообще выросшей в городе, нужно было еще приноровиться к этой земле.

В итоге она выбралась с поля на местную дорогу, по которой теперь шагала, следуя длинным извивам, в стороне от скоростных магистралей пикардийской транспортной сети. Время от времени она нагибалась, чтобы поднять занесенные ветром на эту тропу, покрытую битумом и щебенкой, целые, несжатые колоски и сунуть себе за ухо, как сигарету. Станным также было то, что она шла не в одном направлении, а двигалась по кругу. Но с другой стороны, она не кружила вокруг чего-то определенного, ничего не брала в кольцо, просто круги, которые она прочерчивала, становились все шире и шире. И все же потом ей кое-что попало в круг: один из характерных для Вексенского плато лесных островков посреди гигантской пашни: я думал, что она уже совсем исчезла за ним – но тут она вырулила с другой стороны, держа под мышкой тыкву или что-то другое словно футбольный мяч. Началось хождение перед лесом туда-сюда, перешедшее в беготню со все увеличивавшейся скоростью: похоже, она искала там – панически? – вход, но я бы сразу ей мог сказать, что в такие леса, называемые по-французски «clos»²⁹, похожие на плотно сросшиеся леса со сцепленными ветвями, огораживающие храмы в Японии, ни с какой стороны не войти. Здешний остров-лес возвышался, сомкнув верхушки деревьев, что только усиливало впечатление, будто это неприступная крепость или даже целый город-замок.

После этого неожиданное исчезновение из моего поля зрения воровки фруктов. Но ведь она вот только что, одним мощным движением, не сочетавшимся с ее тонкой фигуркой, зашвырнула свою дорожную сумку, далеко-далеко. Или забросила ее, чтобы пометить то место, где она собиралась устроиться на день, на ночь? (Взгляд через плечо в сторону вагонов: на одном из женских лиц мелькнула тень искренней зависти?) И тут я, опуская бинокль, с уже знакомым ужасом осознал: это действительно она спала на запасном сиденье в поезде, воровка фруктов. Да: сколько раз в моей жизни бывало, что я принимал тех, кто мне внутренне в тот момент был ближе всего, стоило им вживую предстать передо мной, за фантомы, за кого-то совершенно другого, особенно бледного, особенно чужого, при том, что именно эта особая, живая бледность в моих глазах делала их особенно другими. Так у меня случалось и с моими детьми: «Кто этот поразительно бледный незнакомый ребенок, открывший мне только что дверь?» – и только через некоторое время: «Батюшки, так это же мой собственный сын!»

Гудение, гул, дрожание: без паники, дали электричество. Вернулись в поезд и поехали дальше, после того как машинист потушил свой окурочок ногой (и в этом случае никакой опасности: поля пшеницы не загорятся, пшеницу уже всю убрали, – хотя урожай был самый плохой за последние сто лет, причем не только в бывшей королевской житнице).

И почти сразу остановка, у той во всех смыслах ни с чем не сравнимой станции Лавильтертр, далеко от деревни, которую было не видно и не слышно. Помахал на прощание своим попутчицам, каждой в отдельности, особенно той, что с короткими волосами и жилистыми впадинами под коленками, но ни одна из них не помахала в ответ и даже взмаха ресниц не удостоила; все они, как одна, стоило поезду отъехать, снова, как всегда, превратились в величественных особ и снова стали недостижимыми.

Я был единственным пассажиром, сошедшим на этой станции, и потому думал, что я тут один. Глубокий вдох и выдох, несколько раз подряд. Вот он, стоит как всегда на своем месте, старенький вокзальчик, давно закрытый и заколоченный. Но хотя бы снаружи покрашенный свежей краской, – может быть, в один прекрасный день он снова откроется, вот только: для

²⁹ Букв.: огороженный участок (*фр.*).

кого? Кассы больше не было. Не исключено, что ее и вовсе тут никогда не было. Билетного автомата, впрочем, тоже не видно, – один из признаков оригинальности станции Лавильтертр. А вот еще один: кратчайшая дорога в деревню шла в гору через лес со множеством разветвляющихся тропинок, без каких-либо указателей, так что даже «бывалый ходок», «habitué», к числу которых якобы принадлежал и я, то и дело сбивался с пути, а возвращавшиеся домой местные деревенские жители, если их не встречал кто-нибудь на машине, предпочитали делать большой крюк и идти в обход по проселочной дороге.

Можно было бы поведать и о других признаках исключительности станции. В тот летний день, когда история воровки фруктов созрела для того, чтобы быть рассказанной, к ним добавился еще один. Обе крытые остановки под навесами, с двух сторон от рельсов, которые тут, на коротком отрезке перед станцией, снова шли попарно, одни – в направлении Парижа, другие – в депо, были заняты людьми, но не ожидавшими поезда, поскольку этим ранним вечером никакие поезда уже больше не шли, а двумя клошарами, расположившимися каждый на своей остановке. «Клошар», ведь это слово применимо лишь к опустившимся обитателям больших городов. Но назвать их в данном случае «бродягами» или «скитальцами» тоже было нельзя. Достаточно было посмотреть, как они сидели без движения, один склонившись вперед, устремив неподвижный взгляд – предположительно – на башмаки, совершенно непригодные ни к какой ходьбе, другой, такой же недвижимый, завалился вбок, способный лишь на одно-единственное движение – лечь. Сокращение «бомж», лицо «без определенного места жительства», «sans domicile fixe», тоже не годилось. Ведь отсутствие определенного местожительства могло быть своего рода идеалом. (Во всяком случае, для такого, как я.)

Сначала я не заметил эту парочку, потому что, когда я вышел из поезда, они даже не пошевелились. Ни одна голова не поднялась, ни под навесом крытой остановки тут, ни под навесом крытой остановки там. («Крытая остановка» – совсем не подходящее словосочетание для обозначения полуразвалившихся прозрачных пластмассовых будок, уже давно стоявших без крыш.) Когда же я потом все же заговорил с одним из них, на его «лице с красивым в сущности естественным загаром» обнаружились «в сущности очень живые глаза», и отозвавшийся сразу, так сказать не сходя с места, с «сидячего места», голос звучал «в сущности весьма бойко», – мужчина говорил «в сущности приятным баритоном».

Я поздоровался с ним и потом спросил – нет, не о его жизни, настоящей или прежней, я спросил его о другом: не видел ли он тут до меня кого-нибудь, кто проходил бы мимо, женщину, не маленькую, не большую, не толстую, не тонкую, не белую, не черную, – в последнем случае нечто среднее. «Да, была тут такая. Сначала я подумал: наверное, одна из нас, – но как она сюда забралась, черт побери? А потом пригляделся и понял: нет. Она такая и не такая. Вон тот, напротив, обычно нагоняет страх на людей, все молчит, как пес-молчун. Но перед этой женщиной он и сам вдруг струхнул, поджал хвост, как самый что ни на есть побитый пес. Испугаться такой бабы? Смехота!» И он действительно рассмеялся каким-то на удивление детским смехом. «А как она тут все шастала зигзагом, туда-сюда, по всем путям, то идет так медленно-медленно, то вдруг сайд-степ выкинет, – именно так буквально и было сказано, – а потом вдруг как бросится к тому, напротив, а потом ко мне, оказалось, что она просто что-то искала. И в итоге, похоже, нашла, хотя и не то, что искала, нашла вон там, в ангаре. Что это было? Бог его ведает, она засунула эту штуковину сразу под пальто, когда вышла из ангара, что-то четырехугольное. Книга? Нет, для книги великовата. Но если я правильно помню, ведь раньше бывали и большие книги, верно? Картина? Фотография? Не спрашивай. Меня и собственные-то вопросы раздражают. Когда я был молодым, я проехал всю Африку стопом, со змеею под рубашкой. Стопом – так говорят еще? А вон у того под футболкой маленькая куница, живая. Или, может, хорек? Погляди, как высунул морду из-под ворота, глазки-пуговицы, зубы острые. Мне б такое пальтецо, как у них, а то я все мерзну, даже летом. Африка! Мали. Зна-

ешь песни Траоре Бубакара? «Si tu savais, comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer»³⁰. Хотя у той-то было даже не пальто, а такой балахон, накидка. В школе я несколько лет учил немецкий, но единственное слово, которое помню, – «Wetterfleck», «плащ-палатка». А от тех времен, что я провел на Балканах, у меня засело в башке еще три якобы немецких слова, которые были там в ходу, доставшись в наследство от австрийской монархии, хотя я понятия не имею, что они значат: «Markalle», «auspuh», «schraubzieher»³¹. Боже ж ты мой, как она обрадовалась тому, что нашла там в ангаре. Или, наоборот, испугалась? Не знаю, не спрашивай. Сколько раз я пытался открыть дверь этого ангара. И дергал, и тряс, без конца. Никакого эффекта. А она? Пнула разок ногой, и готово дело? Нет. Не могло быть такого. Ничего она не пинала. Она еще ни разу в жизни ничего и никого не пинала. Хотя когда-нибудь придется, если другого не останется, верно? А может, просто все дело в том, что я-то тянул за сломанную ручку – с меня станется, вместо того чтобы, как она, – взять и отодвинуть дверь? С другой стороны, входить в ангар не разрешалось, – неужели она не видела запрещающую табличку? – и уж тем более запрещалось оттуда что-либо выносить, тут, с моей точки зрения, налицо состав преступления – воровство, а если еще имело место открытие двери с применением силы, то еще более тяжкое преступление – кража со взломом, ясно как божий день. Но как она потом с этой штуковиной под накидкой, сияя воровскою и одновременно королевскою радостью, села ко мне, близко-близко, чуть не пихнула меня при этом, или, может быть, все-таки действительно пихнула, или даже чуть не спихнула, *bel et bien*³²? Может быть, она в самом деле хотела меня спихнуть отсюда? Занять это место для себя? Нет. Уже давно ко мне так мило ни одна девушка не подсаживалась. Подсаживалась? Усаживалась! Уже давно? Никогда, ни разу. И впервые за все время этот, напротив, посмотрел сюда. Какая зависть. Неприкрытая зависть. Неприкрытое не бывает. А потом мы все трое ни с того ни с сего рассмеялись, она – как это сказать? – во все лицо, я, сам не зная почему, а этот, напротив? он тоже смеялся, вместе с ней и вместе со мной, как только умеет смеяться немой человек или как только умеет не умеющий смеяться немой человек».

Я пошел к ангару. Дверь стояла распахнутой настежь, и, хотя со стороны западного горизонта, почти от самой верхней линии гряды холмов Ля Мольтер шел низкий солнечный свет, попадавший вовнутрь, внутри ангара было холодно как в подвальном леднике. Остановившись на пороге, я бросил взгляд через плечо на того бомжа, который сидел на остановке возле путей в сторону Парижа. Он сразу понял, на что я намекаю: как спальное место ангар ему точно не годился, и потому в ответ на мой взгляд он лишь кивнул, слегка, еле заметно. Весь пол в ангаре был усеян бумагами с печатными строчками, состоявшими в основном из цифр, и мне не нужно было даже нагибаться, чтобы распознать в них невесть откуда взявшиеся банковские выписки из счетов, судя по бросавшемуся в глаза изображенному на каждом листе логотипу одного «всемирно известного» банка, всемирная известность которого была того же толка, что и известность встретившегося мне еще несколько часов назад – или несколько дней тому назад, а может быть, и недель? – на страницах газеты «*Parisien*» некоего «всемирно известного» галериста. Потом я все же наклонился и перевернул несколько бумажек. Обратные стороны были чистыми, пустыми. Хотя нет: в горизонтальном свете закатного солнца, освещавшего их, на одном из листков проявилась строчка, но не в виде напечатанного текста, а в виде оттиска рукописной записи, оставшейся от того, что листок был использован в качестве подложки. Рядом – обычный матрац, в обычном состоянии; менее обычным было наличие старой телефонной книги, валявшейся в дальнем углу, и совсем уж необычно выглядела тут микроволновая печь – в ангаре не было ни одной розетки. Или микроволновые печи могут работать и на батарейках?

³⁰ «Если бы ты знала, как я люблю тебя, ты бы тоже меня обязательно полюбила» (*фр.*).

³¹ *Искаж. нем.*: Markthalle – рыночный павильон; Auspuff – выхлоп, выхлопная труба; Schraubenzieher – отвертка.

³² Здесь: совсем (*фр.*).

Руководствуясь мыслью о том, что история воровки фруктов – не детективная история или детективный роман, я запретил себе задаваться подобного рода вопросами, сунул один из листов в карман и вышел наружу, туда, где в последних лучах солнца отливал особой синевой станционный щит с надписью «Лавильтертр». Оба обитателя железнодорожных прирельсовых территорий по разные стороны путей успели тем временем вернуться в исходное положение и задремать, один сидя, другой лежа в своей «будке», *abri*, без крыши, вместе с детенышем то ли куницы, то ли хорька под футболкой с надписью «Circle City, Alaska», оба были теперь недоступны для общения или просто не хотели больше ни с кем общаться.

Я глядел на мост над двумя парами рельсов, по которому за все это время не проехала ни одна машина и на который, похоже, целую вечность не ступала нога человека, и понимал, что и мне больше нечего сказать. На душе у меня стало как-то торжественно, когда я почувствовал, что все сказано и что я могу ничего больше не говорить. Я ощущал, как превращаюсь в немого, как растет моя немота. Вот теперь и я немой, хотя и по-другому, чем тот, что растянулся там на своей растрескавшейся поломанной пластмассовой скамейке. Совершенно немой, так стоял я перед лицом как будто всеохватного пространства, приподнято немой. Мне представилось, что за опорой моста воровка фруктов упражняется в бросках, но при этом в действительности ничего не бросает.

Солнце зашло. Первый холодок после теплого летнего дня опустился на Пикардию и Вексенское плато. Темные, оттого что сжатые, поля неожиданно-негаданно забелели белизной прежде незаметных чашек. Высоко в небе такие же белые ленты облаков, как следы морской пены на песке от прибойной волны. Два небольших облака, выхваченные, одно за другим, лучом уже исчезнувшего отовсюду солнца, тихо двигались навстречу друг другу и ярко вспыхнули в тот самый момент, когда соединились. Не знаю почему, но мне это напомнило один роман, прочитанный в ранней юности: его герой, в конце, видит у себя над головой громоздящиеся облака и представляет себе, что это узилище, из которого нужно обязательно вырваться, или даже не просто темница, а нечто гораздо более мощное – цитадель. Шаг, еще один, чуть другой из-за пчелиного укуса, точнее, благодаря ему; «*grâce à la piqûre*»³³.

В то время, когда разворачивается ее история, воровка фруктов как раз только что вернулась из длительного многомесячного путешествия. Проведя не больше одного дня и одной ночи в Париже, где она жила возле Порт-д'Орлеан, она снова двинулась в путь, спешно покинув дом не только из-за матери, которая исчезла незадолго до ее возвращения с русского Крайнего Севера и на поиски которой она бросилась теперь, но еще и потому, что ею, во сне, владел совершенно определенный, хотя после пробуждения уже не такой определенный и оттого, быть может, еще более пугающий страх за себя. При этом «страх» или «*angoisse*» было тем словом, которое она никогда не употребляла применительно к себе. Она избегала говорить «Мне страшно», «Я испытываю страх» или «*Je suis angoissée*», из суеверия (это ее собственное выражение, она сама неоднократно повторяла, что «суеверна до мозга костей»), опасаясь, что если она произнесет это слово, то страх, вместо того чтобы исчезнуть или, по крайней мере, как-то улечься, наоборот, разрастется до невероятных размеров и станет совсем уже неодолимым; и тогда уже никакими средствами от него будет не избавиться; хотя, возможно, надеялась она, никому особо об этом не сообщая, из того же суеверия, кое-какие средства все же имелись.

Ее возвращению из тайги и тундры предшествовали рассказы или, скорее, обрывки рассказов, иногда в форме рисунков, которые она посылала родным, не столько матери, которая уже утратила способность понимать такого рода вещи, да и не только такого рода, сколько брату и прежде всего отцу. Судя по этим посланиям, она целыми днями и ночами, поскольку солнце, не успев сесть, тут же снова всходило (справа? или слева?), сидела где-то на берегу Енисея, Оби, Амура, или как там еще называются все эти реки Русского Севера, и рисовала,

³³ Благодаря укусу (*фр.*).

раскрашивала, причем не только карандашами, а всем, что попадалось под руку, не обращая внимания на то, соответствуют ли цвета окраске внешнего мира, и запечатлевала происходящее на реках и, еще более самозабвенно, по своему обыкновению, то, что находилось в стороне от берегов, по краям и углам картины, но с особенным удовольствием, во всяком случае, с необычайной подробностью, то, что происходило прямо у нее под ногами. Между делом она выучила русский, язык – так она, по крайней мере, полагала – ее предков, по одной из линий, одной из многих, и на конвертах писала свое имя кириллицей: АЛЕКСИЯ. Время от времени она подрабатывала, официанткой (при этом не раз и не два проливала суп и напитки, иногда бывая неловкой), горничной, работницей на рыбных базарах (на одном из них она привлекла к себе общее внимание, вызвав немалое удивление и став предметом насмешек из-за того, что она оказалась тут единственным человеком без «раскосых» глаз), заварщицей чая и обжарщицей кофе (и с той и с другой работой она справилась лучше всего благодаря своему «timing’у», который и по-русски назывался так же и произносился одинаково – «тайминг»), но особую ловкость она проявила, обойдя всех, кто вместе с ней в тот длинный день находился в лесу, когда работала грибницей (если это занятие можно назвать «работой»). Какому-то мужчине она напредила его умершую жену. Другой, называвший ее поначалу «деткой», сравнил ее час спустя с Шерон Стоун. А еще один непременно хотел поиграть с ней в футбол. А еще один окрестил ее ЯСНОЙ ПОЛЯНОЙ. А еще один...

В первый день после возвращения все голоса, звучавшие на парижских улицах, от Алезии и Данфер-Рошро до Монпарнаса, казались ей русскими, и потому она то и дело, отвечая на приветствие или обращенный к ней вопрос, и сама переходила на русский. И в голосах птиц в городе ей слышалась славянская окраска. И даже кофейные машины выплевывали славянские шипящие согласные: «ч», «щ» и тому подобные, как и ее собственный паровой утюг, которым она пользовалась сегодня утром.

В действительности у Алексии было другое имя. Но так ее называли все с тех пор, как она в ранней юности исчезла из дома и, считаясь пропавшей без вести, несколько лет, никем не узнанная, в том числе и собственной матерью, обитала на ее участке (отец тогда отсутствовал, брат еще не родился), – по имени святого с похожей историей, Алексия. Только в истории святого родители лишь в час его смерти признали в нем, долгое время жившем безвестным пришельцем в каморке под лестницей их дома, пропавшего сына.

Воровка фруктов уже в подростковом возрасте, до своей жизни «под лестницей», была одержима, как это назвать? «охотой к перемене мест»? «болезненной страстью к бродяжничеству»? которая нападала на нее по временам. С интервалом в несколько месяцев она исчезала, всякий раз на целый день, потом ее ловили где-нибудь за городом, но она никогда не могла объяснить, как она очутилась на платформе грузовой станции или даже под ней, в садоводстве, в проржавевшем автобусе и часто за пределами страны, по ту сторону Альп, Пиреней, Арденн. Она считалась больной, и у ее заболевания имелось название.

После возвращения, когда ее никто не узнал, и потом, когда она снова сошлась с матерью и, по-другому, с отцом, Алексия исцелилась, причем окончательно, от своей страсти к бродяжничеству. Что не означало превращения в домоседку. Живя по преимуществу в своей просторной квартире, которая служила ей одновременно рабочим местом и мастерской, она тем не менее регулярно отправлялась в дальние путешествия, все более или менее спланированные, с ясным представлением о том, куда она движется, и, главное, о том, где она побывала и как: она, как никто другой, обладала безошибочным чутьем по отношению к пространству или даже каким-то чувствованием места, только ей присущим чувством места. С другой стороны, от тех лет блужданий в смятении и потерянности у нее сохранилось нечто, что отнюдь не давило на нее тяжелым грузом, но, напротив, словно окрыляло ее и по временам озаряло проблеском того, что можно было бы назвать тихим высокомыслием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.